

Галина МАМЫКО

Монастырские

роман

12+

Галина Мамыко
Монастырские

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Мамыко Г.

Монастырские / Г. Мамыко — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Вера Монастырская и Катя Небылица – подруги с детства. Вера в течение своей жизни переживёт много приключений. В поисках личного счастья она отобьёт у Кати мужа. Но дружба между героинями сохранится. Катя решится на необыкновенный шаг, что потрясёт Веру и изменит её жизнь. В романе Галины Мамыко «Монастырские» проходит жизнь поколений и судеб человеческих. Автор приглашает читателя заглянуть вместе с героями не только в прошлое, но и за завесу будущих времён. Герои ищут себя, оступаются, попадают в жизненные ловушки, вновь устремляются к поиску того лучшего, что так хочется найти в первую очередь внутри самого себя и поделиться с другими. За внешними буднями стоит главное: внутренний мир человека, его духовные ценности, устремлённость к добру и свету, несмотря ни на какие пропасти и бездны на жизненном пути.

© Мамыко Г., 2019

© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

Антоний Монастырский	6
Глава 2: Визит отца Антония в райком партии	10
Глава 3: Братья	12
2 часть романа	14
Глава 2: Смятение	15
Глава 3: Корни	19
Сказ об Антонии	20
1. Исповедь	21
2. Комиссар	29
3. Страшная ночь	34
4. Расправа	37
5. Путники	40
6. Товарищ секретарь	44
7. Товарищ Сталин	46
8. Встреча со Сталиным	49
Эпилог	54
Глава 4: Сергей Поликарпович и Анна Владимировна Монастырские	56
Мечта Анны Владимировны Монастырской (в девичестве – Болезненной)	59
Глава 5: Няни	65
Володя	70
Мария Фёдоровна	78
Глава 6: Праздник революции!	80
На выданье	82
Глава 7: «А меня зовут Витя»	88
Глава 8: «Идти в школу без Кати я отказалась»	93
Глава 2: Арест отца	101
Глава 3: После ареста	105
Глава 4: Пока ещё есть время...	111
Глава 5: Таис Монастырская	114
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Статистика: страниц – 621 знаков с пробелами –1 894 145

1 часть романа

Антоний Монастырский

Глава 1: Отец Антоний и Рыжая

Отец Антоний в плаще, надетом поверх старой залатанной рясы, не спеша шёл привычным путём. Огромная территория кладбища больше походила на нескончаемый лес. Он с удовольствием втягивал ноздрями свежий воздух.

Ему нравились и эта тишина, и осень... Ноги мягко проваливались в плотный слой сырых листьев. Тёмные силуэты деревьев дрожали от колебаний воздуха. Вместе с порывами ветра обрушивались брызги. Порою тучи рассеивались, и тогда бледное солнце мелькало перед глазами как-то неожиданно и странно.

Каждый раз, когда приходилось возвращаться после церковной службы домой, он использовал эту пешую прогулку для Богомыслия и молитвенного правила.

Сейчас душа священника звучала пасхальными песнопениями. Престольный праздник проводился по традиции пасхальным чином, в честь воспоминания обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Кроме того, с утра отцу Антонию служащая передала записку. Кто-то просил о встрече возле мемориала погибшим советским воинам. Это по пути.

Уже издали он узнал этого человека. Агапов Анатолий Петрович. С ним отцу Антонию довелось познакомиться ровно год назад, на следующий день после престольного, в праздник Воздвижения Креста Господня. И точно так же моросил дождь. Тогда этот человек пришёл под конец службы и попросил у батюшки тайно исповедаться. Дождались, пока церковь опустеет. Исповедь длилась больше часа. Затем отец Антоний подвёл незнакомца к украшенному живыми цветами Кресту на центральном аналое. Мужчина помедлил. Священник с пониманием смотрел на него. Он знал, что для многих не церковных людей встать на колени в храме представляется делом постыдным. Но Агапов всё же положил земной поклон, как это недавно делали присутствующие.

Тогда-то батюшка помимо прочего и узнал подтверждение своим догадкам: он находится под наблюдением. Ну, а один из наблюдателей – этот самый, Агапов, что так внезапно объявился в жизни отца Антония.

Этот человек стал частым гостем в ваганьковском храме Воскресения Слоущего. Приходил вроде бы вынужденно, в силу служебных обязанностей. На самом деле, и это было для отца Антония очевидно, Агапов не притворно сожалел о многом в своей жизни и всерьёз молился.

Сейчас Агапов в задумчивости сидел на поваленном недавним ураганом дереве, неподалёку от Мемориала, укрытый от посторонних глаз раскидистыми елями. Склонившись, он чертил прутиком по земле и курил. Он ещё не успел увидеть отца Антония.

Отца Антония устраивало оставаться подольше незамеченным – в этих местах его вполне могла караулить сейчас та, которую он называл Рыжая. Она, правда, чаще поджидала батюшку уже при выходе с территории кладбища, в уединённом уголке. Тем не менее, способна была объявиться и на людях, и чаще – как раз возле Мемориала, где наверняка можно было увидеть своего покровителя. Вопрос встречи с отцом Антонием был для неё важнее осторожности. В такие минуты она заставляла священника на поминальной молитве.

Здесь, начиная с 1908 года, находилось уничтоженное в тридцатые годы коммунистами место захоронения знаменитого московского проповедника, настоятеля кремлёвского Архангельского собора – протоиерея Валентина Амфитеатрова.

Отец Антоний не уходил, пока не прочитывал текст Литии. Возле могилы легендарного проповедника он размышлял о гнусной природе большевизма. Он думал о том, что те, кто

возвёл в ранг государственной политики борьбу с церковью, роют яму и себе, и государству. Эти люди поставили страну «вне Бога», а значит, запрограммировали государственный строй на гниение. И пройдёт не так много времени, размышлял отец Антоний, как весь этот колосс на глиняных ногах рухнет.

Священник был просто уверен в неминуемой катастрофе.

Вся библейская история указывает на то, что гнев Божий неотвратим там, где человек поворачивает против Творца. Вот и в СССР разве может быть иначе с теми, кто пошёл по пути уничтожения священства и преследования верующих, а атеистическую идеологию сделал фундаментом государственного строительства. Такие мысли были в голове протоиерея Антония Монастырского. И самое страшное, думал он, это то, что на смену старому растёт такое поколение, которое усилиями властей не знает Бога. Народ, отвернувшийся от Бога, это страшный народ. Как тут не вспомнить Евангельских «живых мертвецов».

Когда-то он имел смелость излагать подобные размышления Сталину. С вождём судьба свела отца Антония, ещё когда будущий служитель церкви был маленьким мальчиком. Необычная дружба длилась до кончины вождя. Но и его смерть не поставила точку. Казалось, Сталин и из гроба оказывал покровительство своему любимцу. В народе по сей день ходит легенда, что когда Хрущёв дал согласие на тайное уничтожение Монастырского, к Никите Сергеевичу в сонном видении явился покойный Иосиф Сталин и запретил это делать. А для острастки – придушил. Тот проснулся от спазмов в горле и, поговаривают, с посиневшей шеей. Политическая неприкасаемость Антония Монастырского как бы доказывала правдивость этой байки.

Отец Антоний Монастырский славился решительностью. Он позволял себе говорить с амвона обличающие богоборцев проповеди. Паства любила батюшку, но опасалась, как бы духовного отца не забрали. Приезжали к отцу Антонию репортёры – как свои, так и зарубежные. Горели интересом к прошлому, хотели знать подробности об отношениях со Сталиным. Но отец Антоний не желал говорить. Не открывал он и намерения написать автобиографический очерк, а может, даст Бог, и книгу. В этом труде ему хотелось рассказать не только о Сталине, но и, конечно, коснуться самого важного, по его мнению, вопроса – богоборческой природы большевизма...

Уединение нарушила Рыжая. Она стояла в терпеливом ожидании поодаль. Её присутствие нельзя было не заметить.

Это была умная и покладистая лисица. Откуда и каким удивительным образом она прижилась в некрополе, никто объяснить не мог. Предполагали, что на этой земле обитали её предки, и лисица приходит, чтобы почтить их память.

Когда-то отец Антоний помог ей выжить после огнестрельного ранения. Подстрелили её нетрезвые чекисты. Батюшка выхаживал страдалицу у себя дома.

Рыжая привязалась к новому другу и покидать его не хотела. Она чувала в этом человеке умиротворение, и это ей напоминало лесную тишину. Она любила его молитвенные бдения. Когда он ночью, в блеске свечи, воздевал руки, когда говорил: «Слава Тебе, показавшему нам свет!», лисица плакала. Она не знала, что нужно ей делать в такие минуты, но слёзы подсказывали – делать ничего не нужно, остаётся лишь плакать. Почему – она не понимала, но ей было так хорошо, что даже исчезала тоска по детёнышам.

Их убили те самые люди, они хотели и её убить. Но она так быстро бежала... А потом всё померкло в её глазах. И она не знала ничего больше. А потом к ней пришла новая жизнь. В этой жизни она узнала, что такое любить человека.

Этот человек пообещал ей частые встречи после её выздоровления, и слово своё сдержал. Она непостижимым чутьём узнавала день и час, когда он появится на кладбищенской дороге, и, прячась в кустах, ждала его.

Он рассказывал ей свои новости, а она хрустела полученным из его рук яблоком. А потом тосковала при расставании. Никто не мог заподозрить её в сентиментальности. Но только не отец Антоний. Он понимал её так, как никто ещё не понимал её в этой жизни. И вот это понимание она больше всего ценила в нём. «Не грусти, – говорил он, прощаясь. – Ведь скоро мы снова увидимся».

Рыжая давно хотела как-то отблагодарить его. И сегодня как раз был такой день.

Она принесла отцу Антонию зайца. Заяц поглядывал на отца Антония с надеждой.

Отец Антоний покачал головой и сказал:

– Послушай, Рыжая, я тебе очень признателен. Но ведь он, также, как и мы с тобой, хочет жить. И прыгать в траве, и смотреть на солнце. А, Рыжая? Отпусти, пожалуйста. Это будет отличный подарок для меня.

Лисица выслушала отца Антония и разжала зубы.

Заяц взглянул с благодарностью на священника и удрал.

Отец Антоний погладил лисицу по голове, дал ей яблоко. Лисица скушала яблоко.

Ещё несколько секунд они общались на понятном им обоим языке.

– До завтра! – батюшка помахал ей рукой.

Но Рыжая вдруг насторожилась и прыгнула в сторону кустарника. Там кто-то мгновенно отозвался громкой бранью, затем раздался треск веток. Из гущи показался незнакомый человек в кожаной куртке. Царапая руки, он стал продираться сквозь колючки дикого шиповника, и, наконец, побежал прочь. Лисица погналась за ним и схватилась зубами за брюки. Потщила к отцу Антонию. Она чуяла особый запах чужака, это был запах смерти. Вот такой же запах исходил от тех, которые убили её лисят.

Она знала точно, что поймала врага, и с этим врагом надо расправиться.

Агапов был уже рядом со священником. На пойманного лисицей человека он не смотрел. И заговорил тоже не о нём.

– Отец Антоний, каюсь, я подглядел ваше свидание с лисой. Честно говоря, думал – истории о кормлении с руки животных существуют лишь в житиях. Но, оказывается, и в наше время случаются чудеса, – сказал Агапов и подошёл под благословение.

Отец Антоний сказал:

– Да, Рыжая – настоящий друг.

Он обратился к лисице:

– Отпусти его. Он ничего плохого нам не сделает. Он уже всё понял.

– А что же он понял? – сказал Агапов и взглянул искоса на человека.

Тот стоял в напряжении, опустив руки. И от того, что он был в напряжении, казалось, что он стоит по команде «смирно» и держит руки по швам. Он смотрел на лисицу. На его бледном, тщательно выбритом, худом лице угадывалось в искривлённых тонких губах выражение досады.

Лисица не хотела смотреть на врага. Ей было достаточно этого запаха.

– Товарищ Меркулов, ты зачем здесь? – сказал Агапов холодно, без выражения, и отвернулся от Меркулова.

Теперь Агапов стоял на широко расставленных ногах, задрал голову к небу, и подставлял щёки под холодную морось. Его лицо выражало удовольствие. Со стороны казалось, что он так поступает нарочно, показывает всем своим видом, что ему нет дела ни до Меркулова, ни до всего остального, что касается этого человека.

Меркулов вздохнул. Но Агапову показалось, что это усмешка.

Агапов взглянул поверх головы Меркулова в глубину лесной чащи и сказал, обращаясь к священнику:

– Из нашего отдела. Мой коллега.

Отец Антоний молчал.

Лисица потёрлась о его ноги и ушла.

– Я при исполнении, – сказал после паузы Меркулов.

В его голосе Агапову теперь почудилось извинение. «Ну и что с того, – подумал он, – трудно доверять таким людям».

– А, вот оно что. Тебе поручили подстраховать меня, – сказал Агапов.

– Так точно.

– Отец Антоний, – голос Агапова стал жёстким. Офицер как будто сердился. – Оказыва-
ется, мы с этим товарищем получили одинаковое задание.

– Убить меня, – сказал, наконец, отец Антоний.

Он был спокоен.

– Вы поняли, батюшка.

– Да, понял, – сказал священник.

«На всё воля Божья. Если Господь попускает чему-то быть, того и не миновать», – подумал он.

– Я хотел предупредить вас об опасности, и поэтому искал встречи с вами, – сказал Агапов так, как будто он оправдывался.

В его голосе слышалась неловкость человека, не успевшего сделать что-то важное.

Он стал говорить. Он говорил торопливо, и в этой торопливости угадывалось опасение быть прерванным.

– Да и как я могу поднять руку на человека, который уберёт мою семью от развода, – теперь Агапов обращался к Меркулову. Но тот отвернулся. – В конце концов, спас от запоев и депрессии. Открыл мне мир, в котором есть Бог. Меркулов, я хочу, чтобы ты понял, кто такой отец Антоний Монастырский. И что такое его молитва. Что скажешь, а?

Меркулов курил. Его руки дрожали. Его удивляло, что у него, уверенного в себе человека, профессионального разведчика, вдруг дрожат руки. Ему это было в себе неприятно. И ещё больше раздражало, что это могут заметить посторонние. Он взглянул, наконец, на отца Антония и сказал неожиданно для себя то, чего и не хотел вовсе говорить:

– Я, товарищ Монастырский... Я когда увидел вас с этой лисицей... Да что там... Стрелять в человека, которому дикие животные подчиняются, это не моё.

Он замолчал, недовольный этим, вырвавшимся, признанием. С раздражением затоптал папиросу, и тут же, не зная, что делать, закурил новую.

– Ладно-ладно... – сказал отец Антоний миролюбиво. – Хотел бы вас, друзья мои, позвать на чай, да вам неприятности служебные от того. Поэтому... Ступайте с Богом.

Глава 2: Визит отца Антония в райком партии

Секретарь, дама средних лет, в строгом деловом костюме, сидела с прямой спиной за рабочим столом. Белая блузка с отложным воротничком, пиджак, прямая юбка ниже колен, аккуратная причёска – всё в её тщательно продуманном облике соответствовало ответственной должности. В кабинете было солнечно, недавно вымытый райкомовской уборщицей пол блестел. Два шкафа, четыре крепких стула с кожаной обшивкой, малиновая ковровая дорожка отличались чистотой и должны были вызывать уважение у каждого входящего.

Секретарь гордилась своей работой, а также тем, что у неё на подоконнике стоят горшки с геранью. Цветы на рабочем месте, по её мнению, располагают к хорошему настроению. Как и чистота. А хорошее настроение – залог удачного дня. Но вот посетители... Они не всегда были ей приятны, особенно в грязной обуви. Её удручало, если на полу оставались пятна. Визитёров секретарь Петрова Елизавета Аркадьевна разделяла на благородных и неблагородных. Последняя категория как раз и вызывала у неё настороженность.

Сегодняшний гость не соответствовал представлениям Елизаветы Аркадьевны о человеческих достоинствах и недостатках. Потому что это был священник. Он сидел на стуле, руки он положил на колени, как школьник. Елизавету Аркадьевну поразило, что, оказывается, существуют до сих пор попы, которые не боятся разгуливать по городу (и тем более в помещении райкома партии!) в своём поповском облачении. Она так и доложила шефу – первому секретарю Богдану Сергеевичу Монастырскому:

– В приёмной – поп.

И многозначительно добавила:

– В поповской одежде!

– Скажите ему, что без предварительной записи не принимаю.

– Сказала. Но...

Елизавета Аркадьевна замялась.

– Что?

Она приблизилась вплотную к столу, но вслух говорить раздумала:

– Можно я напишу?

Богдан Сергеевич с интересом посмотрел на секретаршу. Он её знал много лет. Доверял как себе. Такое поведение было не привычно для опытной партийной работницы. Он молча ожидал, пока она писала карандашом на отрывном листе календаря: «Поп сказал, что он ваш родственник!!!» Три восклицательных знака показывали, какие сильные чувства пережила партийная дама от такой новости.

Богдан Сергеевич вырвал из календаря лист с восклицательными знаками, разорвал:

– Сожгите.

– Поняла, Богдан Сергеевич, – секретарь сжала в кулаке бумажки, закивала, и стали ещё лучше видны её красивые, тщательно выложенные вокруг головы косы.

– А ему велите уйти. Скажите, он ошибся.

– Конечно! – в голосе Елизаветы Аркадьевны звучало облегчение.

Она радовалась, что не придётся передавать тем людям, которым она обязана была доносить на Монастырского, такие неприятные вещи. Нет, она, конечно, поставит в известность «их» о визите попа, но и что из того. Мало ли кто обивает пороги высоких приёмных. Главное, встречи с Монастырским у попа не состоялось.

Но она ошиблась. Через минуту поп без приглашения вошёл в кабинет первого секретаря. Елизавета Аркадьевна хотела было встать на его пути, сделать строгую гримасу, заговорить железным голосом... Она считала, что у неё – талант вызывать у неугодных посетителей

замешательство. Но сейчас она испытала такое сильное удивление, что сама пришла в замешательство. Она увидела, что этот человек действительно внешне похож на её начальника – Монастырского Богдана Сергеевича. Она в недоумении переводила взгляд с одного на другого. Высокий лоб, благородные черты лица, выразительные красивые глаза, широкие кустистые брови... Яркая внешность. Неужели и правда родственник? Старший брат?! И это повергло секретаря в такой ужас, что она молча ушла.

Глава 3: Братья

Богдан Сергеевич поднялся. «Ну вот...» – подумал он. За этим «ну вот» стояло много чувств и мыслей, накопленных за последние десятки лет. И заключали в себе эти чувства и мысли одно: страх. Это был страх перед возможной встречей с тем, кто одним своим присутствием рядом с Богданом Сергеевичем мог перечеркнуть благополучную жизнь советского партийного руководителя. Двоюродный брат был старше его на одиннадцать лет. И хотя Богдан Сергеевич никогда его раньше не видел, но с первого же взгляда признал в этом священнике родную кровь. Внешнее сходство его опечалило.

– Что ты хочешь от меня? – сказал Богдан Сергеевич и отвёл взгляд.

Священник дружески улыбался. Открытое лицо, добрые глаза. Приятная внешность. Как у всех мужчин из рода Монастырских, подумал с тоской Богдан Сергеевич.

Богдану Сергеевичу не нравилось, что говорит с родным человеком холодным тоном. Ему было стыдно за свою демонстративную отчуждённость. Он помнил рассказы отца о дяде Коле. О том, как красноармейцы убили его семью за веру в Бога, а двум мальчуганам-сыновьям посчастливилось избежать расправы. Эта история в ту пору получила огласку благодаря «сенсационному» (как писали в иностранной прессе) участию Сталина в жизни осиротевших братьев Монастырских – Богдана и Игоря. Мальчиков Сталин взял под своё покровительство. Один из них по окончании Отечественной войны стал священником. Последнее обстоятельство и встревожило Богдана Сергеевича. А вдруг кто-то наверху узнает о такой родственной связи? Шли годы. Никто вопросов Богдану Сергеевичу не задавал. Может, тень Сталина за спиной двоюродного брата мешала, а может, безукоризненный авторитет самого Богдана Сергеевича не позволял чинить ему неприятности... Но всё равно он жил в напряжённом ожидании, что рано или поздно двоюродный брат в поповской рясе объявится в его жизни. И вот, страшный сон сбылся.

– Здравствуй, Богдан, – сказал отец Антоний. – Давно я хотел тебя увидеть. Но встреч, скажу как есть, все эти годы не искал намеренно. Не хотел, чтобы из-за моего священнического сана у тебя возникли служебные неприятности.

– Однако, теперь ты почему-то...

Богдан Сергеевич не договорил. Он собирался сказать резкость, но под внимательным взглядом сочувствующих глаз стушевался.

– Да, Богдан, теперь я, к сожалению, вынужден быть в этом кабинете. У меня безвыходная ситуация. Меня недавно чуть не убили люди из органов. Спасибо, лисица спасла.

– Что?

– Да, была у меня одна знакомая лисица по имени Рыжая. Собой пожертвовала. Бросилась на убийцу. В горло вцепилась.

– А... – Богдан Сергеевич не знал, что сказать.

Он был в замешательстве.

Помедлив, предложил, наконец, посетителю сесть.

– Как же это? – сказал Богдан Сергеевич.

Он не знал, как себя вести. Ему не хотелось, чтобы кто-то узнал, что в его кабинете сидит поп, и они разговаривают. И самое неприятное, в который раз подумал Богдан Сергеевич, что этот поп и он, партийный руководитель, между собой внешне так схожи, что можно принять за братьев-близнецов. Вот и отец говорил, что с дядей Колей они были как братья-близнецы.

– Да так. У нас молебен шёл в церковном дворе, водосвятный. Людей было не так и много. И среди них стоял тот, с площади Дзержинского, которому приказали меня убить. Раньше я как-то уже сталкивался с ним... Однажды он с пистолетом в кустах меня подкараулил, да

лисица, подружка моя славная, его поймала. За штаны притащила. Он тогда заметно растерялся. И даже извинялся. Я уже подумал, на том и закончится. Да ошибся... И вот, спустя время, на молебне... Когда я стал кропить людей святой водой, он и достал свой пистолет. А вот выстрелить в меня не успел. Тут же Агапов бросился, закрыл меня собой... Погиб мгновенно. Да-а... За ним следом и я уже приготовился к подобной участи. И вдруг – Рыжая! Летит, сердечная, как птица, да мёртвой хваткой чекисту в горло. Он в неё и пальнул напоследок, перед тем как Богу душу отдать.

Священник замолчал.

– А кто этот, Агапов?

– Так... – священник перекрестился. – Царство ему небесное!

После паузы продолжил:

– Горло чекисту перегрызла.

– А сама что? Выжила?

– Нет. Куда там...

– А теперь что?

– А теперь вроде от меня отстали. Убивать, насколько понимаю, передумали. Один знающий человек шепнул: причиной тому – интерес зарубежной прессы к неудачному на меня покушению, да ещё с двумя трупами чекистов. Решили избавиться от меня иным путём. Собираются на Север отправить. Я потому и пришёл к тебе. Не за себя просить хочу (я-то – ладно), а за семью. Сыновья, жена... Чтобы их не трогали.

– Ну, может, эта информация ошибочная, и всё обойдётся.

– Да нет. Это всё именно так.

– Надо подумать...

– Думать особо и некогда.

– А что ты мне предлагаешь? Ты хочешь, чтобы я пожертвовал своими домочадцами, чтобы потом и меня отправили вслед за тобою куда-нибудь на Соловки?

– Да, да, понимаю... Брат... Прости... Просто я подумал, твой партийный авторитет высок, тебе опасаться нечего.

– Да не называй ты меня братом, не надо! – Богдан Сергеевич вдруг рассердился. От волнения у него перехватило голос. В этих стенах из уст священника – «брат»! – Ну какой я тебе брат. Впервые вижу.

Он поднялся. Священник тоже встал.

– В общем, так. Давай этот разговор закончим. И больше ко мне не приходи.

– Понимаю. Прости. До свидания тогда.

– Прощай.

– Храни тебя Бог. Я был рад тебя увидеть, Богдан. Живы будем – не забудем друг друга. А я со своей стороны, если что случится, всегда буду тебе рад помочь.

2 часть романа

Вера Монастырская

Глава 1: Дни лукавы...

Пролог

Вместе с ночью приходила смерть.

Засыпая, Вера вспоминала о том, что на свете существует помимо жизни ещё и смерть, и потом проваливалась в эту самую смерть.

А утром случалось воскресение тела и души, и возникала сквозь пелену рассветных брызг очередная встреча с новой жизнью.

В отличие от жизни смерть всегда была одинаковой – молчаливой, чёрной. Внутри неё не требовались ни глаза, ни уши. Там царили слепота и глухота. Если не считать миражей. «Каждую ночь у человека отнимается Жизнь и вместо неё приходит Смерть. Приходит, проникает в тело и душу, а потом уходит. Но ведь когда-то она придёт и – не уйдёт. Почему ни один человек в мире не умеет договариваться со Смертью?» – размышляла Вера.

Когда она вдумывалась в это самое вечное, мёртвое, холодное, в это самое «навсегда», ей становилось так страшно, её охватывал такой ужас... о, не было сил терпеть.

Не думать о смерти Вера не умела. Вопрос о ней был главным. В любое время жизни.

В детстве эти мысли приходили внезапно, когда Веру укладывали спать, а в квартире наступала тишина. Иногда из-за двери доносились шаги родителей, шёпот, но мысли о смерти очень быстро поглощали всё, всё, всё...

С годами страшные размышления перестали быть новостью. Она постоянно чувствовала близость своей второй половины. Да. Смерть – это наша родственница, размышляла она по ночам, ведь мы неизбежно идём к ней, ничто так неотвратимо, как эта встреча. Она привыкла к таким помыслам, как дерево – к листьям. И чувствовала шёпот смерти, как дерево чувствует шевеление птенцов в гнезде на своих ветвях.

Глава 2: Смятение

Богдан старше меня на несколько минут...

Хм...

Как это было?

Разумеется, вот так:

...как только Богдан начал уходить навстречу голосу матери, туда – к свету, ветру, птицам, шуму водопадов, дыханию океанов, радости солнца, блеску звёзд, к своей будущей славе, всему тому, что уже подразумевалось и намечалось, – я опомнилась и погналась за ним.

Подумать только, я проспала самое важное!!! Я была так взбешена, что забыла про свои ожидания и надежды. В тот миг больше не интересовало, как я познакомлюсь с родителями, я ещё не знала, что буду разочарована многим в этой жизни, не только братом, но и своим именем: Вера... (Имена нам с братом придумывала верующая бабушка. Мой папа-коммунист счёл благоразумным не омрачать счастливую новость о появлении близнецов и смирился с решением своей матери. Что касается моей мамочки, то ей было всё равно.)

Однако, какая подлость: брат не разбудил меня. Я должна опередить его!

Я схватила его за ногу, но ничего, кроме того, что сделала хромым, не добила.

С воплем досады я согласилась, наконец, выпрыгнуть в руки акушерки. Ах, как я была зла! Ах, как кричала от негодования! Слава и триумф, первенство всегда и во всём на всю последующую жизнь – вот что означала для меня возможность первой войти в мир. Вот он, вождь прообраз! Человек рождается один раз! От того, как он это сделает – с первой попытки или с препятствиями, первым или вторым, уверенно или боязливо, от этого будет зависеть качество дальнейшей жизни! Такую теорию я выпестовала в предвкушении внеутробного иномирия. Я пребывала в уверенности, что все дети рождаются на свет парами.

Брат по Божьей милости родился одарённым мальком.

Когда видишь успех ближнего – твой собственный меркнет.

Он – вундеркинд. Музыкант! Поэт! Художник! Золотые руки!

Богдан любил проводить время за резьбой по дереву, учился в художественной и музыкальной школах, в Московской консерватории им П. И. Чайковского, по ночам писал стихи, а к двадцати пяти годам изготовил свою первую скрипку, отмеченную в числе лучших на Всесоюзном конкурсе скрипичных мастеров. Ах-ах!

Мой брат блистал, я – нет. Им с детства восхищались. Меня – не замечали. А что я? Я была полна горечи. Полынь произрастала внутри моей души так густо, её было так много, и всё кто-то ходил, ходил внутри тех зарослей, стонал так мрачно, навёл на мою душу тяжесть и думы смертные. И ящерицы струились холодом по моим жилам, и жар ненависти обжигал душу.

А мой брат жил со светлой душой, чистыми мыслями и поступал правильно, он вообще был именно таким человеком, каким мне самой хотелось быть.

Все его качества на самом деле должны были быть моими, в безумии думала я. Я видела, как он добр там, где я оказываюсь злой, как он великодушен там, где я проявляю мелочность, и я терялась, я просто не знала, куда деться мне от самой себя, и только одно кипело в тот миг – ненависть.

Когда ему дарили на день рождения игрушечный катер с мотором и брат шёл в ванную, и с восхищением глядел, как катер плавает в воде, я рыдала от злобы. Мне тоже что-то дарили на всякий случай, во избежание истерик, но всё равно то, что у брата, мне представлялось лучше. Я непременно хотела то, не своё. Мама, вернувшись из санатория, вручила нам с братом

подарки. Брату – фильмоскоп с плёнками, мне – игрушечную швейную машинку. Я рыдала: мне тоже хотелось фильмоскоп.

Он первым научился кататься на коньках. Я с завистью смотрела ему в спину, он смеялся, и лёд сверкал под росчерком острых лезвий. И няня радостно махала ему рукой. И солнце холодно слепило мне глаза. А я стояла со своей злостью и только могла плакать.

Вот, вдруг вспомнила: той ночью, когда все уснули, я ведь выкинула в форточку эти самые, подаренные брату, ботинки с коньками.

И яд переполнял душу, и яд источал желание, это было желание смерти для моего брата. Но плакали неизвестные птицы, и опускались их белые крылья, и раскаяние наплывало на мою, напоённую ядом, душу, и я приходила в себя, и обнаруживала внутри себя опустошение. И я появлялась перед братом, я сжимала зубы, но бесполезно, моё лицо всё равно превращалось в слёзы. Я не могла ничего объяснить. Он утешал, я слышала его сочувствие и убегала с рыданиями.

Зависть отвоёвывала в моём сердце переулки и улицы, сооружала убежища, накрывала столы с угощениями, с приправами ядовитыми, а зависть всё приплясывала, и зазывала жильцов новых бессовестных. Кто они были... С годами мне предстояло ещё узнать и их, и себя, и то неопределённое, тяжёлое, неизвестное и чужое, что росло в сердце.

«Зачем эта проклятая зависть-то укоренилась во мне? Ну, зачем?! Там, ещё в детстве?» – спрашивала я себя, и не могла, конечно, ответить. «Так же, как я появилась на свет, вот так же из меня родилась зависть!» – говорила я, и мои глаза заполнялись слезами. О какие муки – терпеть внутри себя эту лягушку. Я не хотела её! А она прижилась и внаглую управляет моими чувствами! О, как это страшно – быть вот в такой чужой власти. Кто-то жалит, и жалит сердце. Я не находила себе места.

Я выглядывала в окно, я шла в город, мои ноги наполнялись ритмом толпы бесконечной. Я становилась частью человечества. Вокруг меня кашляли и чихали, и люди шли в белых противогриппозных масках, и каждый болел своей какой-то болезнью. Все, все больны, думала я и смотрела в лица встречаемых, но люди глаза отводили, люди не хотели никого видеть. Всем было и без меня противно. Всем было и так очень трудно. Никто не давал ответа на мои молчаливые вопросы.

У людей болят головы, ноги. Люди опираются на палки, люди ходят с таблетками в горле, их везут белые машины с красными крестами. Эти машины гудят, они требуют, чтобы им не мешали приближать пациентов к смерти. Или к жизни? Да, конечно, к жизни, той самой жизни, которая когда-нибудь превратится в землю. Но почему меня никто не везёт – ни в морг, ни в реанимацию? Почему меня никто не лечит, и не вызывает ко мне «Скорую»? Ведь я так сильно больна. У меня так сильно болит сердце. Потому что там сидит жало. Это жалит меня страшная зависть.

«Но как странно, как, однако, даже совсем странно говорить об этом. Нет, чтобы говорить о чём-то более стоящем. Что есть зависть? Что есть неприязнь? Зачем о них, того они не стоят...», – шептал мне кто-то из оврагов горбатых, оттуда, где раздваивается и болит сердце, и разбивается на многие кусочки. И жалит, всё жалит кто-то, и я заболела ещё сильнее, а шёпот был сладок, и сомнения колебали мою душу... И крутились, крутились многие змеи, и поили меня смертным соком, и убеждали в нелепости терзаний, и было так тяжело, так сладко.

И я убеждалась, что ничего не понимаю, ничего не знаю о себе, о том, что меня мучает, и что такое то, что есть внутри меня. Да и кто из нас, кто знает себя так, как хотелось бы?! Кто может сказать: я – это... Что бы ни было говорено о себе, всё будет ложь. Узнать себя невозможно? Или...? Всю жизнь я хотела разгадать, что есть во мне. И приходила неизбежно к пониманию тщетности усилий. Усилий, направленных на проникновение внутрь самой себя, к тому, казалось бы, ясному, чистому, но при ближайшем рассмотрении туманному, в котором

можно разглядеть что угодно, но только не своё лицо. Что угодно всплывёт в той мути, то, что владеет моим «я», но где же само это «я». Как до него достучаться.

А кто вместо него, кто вынуждает меня жить так, как я не хочу, делать то, что мне противно, говорить то, от чего потом меня тошнит... Кто они, эти неясные и таинственные хозяева моей внутренней жизни, моего «я», подталкивающие выплёскивать из себя не желанные мною слова, чувства, мысли... И всё не то, всё не то в моём существовании...

Все эти долгие годы я видела: жизнь владык, что руководили моими выходками, существовала внутри меня – независимо от меня. То, что внутри меня, это оно заставляло завидовать, бесноваться, ревновать, ненавидеть, совершать многое из того, что мне на самом деле противно и что сейчас я вспоминаю с тоскою.

«Почему я стала другой, почему я, Вера, не такая, какой была задумана ещё до моего рождения, до того, когда ещё не знала своего имени, когда ещё не была Верой?!» – в отчаянии вновь и вновь восклицала я. Ведь где-то там, где меня ещё не было, там, в предназначении, я не могла быть задумана плохой, этого быть не может. Значит, я родилась хорошей. А потом?

О, нет. Я ничего не знала. И мне оставалось подчиниться этому, что жило во мне, и просто жить, жить...

Как я жила? Ну как может жить человек, который ничего не видит, ничего не знает, ничего не понимает, ничего не слышит. А главное, он при этом уверен, что видит, понимает, знает, слышит. Я торопилась, бежала, летела... Я всё боялась опоздать. Вот только куда, зачем...

Я была той речкой, которая мчится куда-то по камням, ей больно, а она мчится, мчится. И некому её остановить. И мусор падает с чужих ног в неё, и грязь пенится на тусклых волнах, и барахтаются, плачут непонятные мрачные птицы над нею, клювы у них огромные, острые, глаза у них красные, крылья тяжёлые, бьют птицы крыльями по водам, уносятся куда-то, наводят ужас глухой на всё живое...

А я всё бежала, бежала по острым камням, и не чувствовала, как больно израненным ногам. Мне было всё некогда, всё некогда. Мне некогда было поймать хотя бы одну из мыслей, что во множестве блуждали в голове, они стаями мышей бродили и рыли свои норы, и моя голова была полна этих грязных, гадких мышей. Мне некогда было понять одно из чувств, что кипели, кипели в душе, и заглянуть туда было страшно, там стонал ад, в том аду горела я сама, там было невыносимо от пламени, и неусыпаемый червь изводил мою душу в том страшном огне. А тем временем я просто, просто жила... Как живёт в отражении реки – высокое небо, а в том небе – случайное облако, уносимое рекою всё дальше, непонятно куда и зачем. Оно тает так же быстро, как и жизнь каждого, каждого....

«Вот так и наша жизнь, летит, как лист усталый, в мечтах о лучших днях, не ведая того, что так осталось мало, всего лишь миг, и вздох, и вот, последний шаг... и вот уже летят,

летят другие листья, им все равно, что там лежит в земле их брат, им хочется летать, все выше, выше, выше, ах, жизнь моя, где ты, где мой последний шаг...» – это строки из блокнота моего брата. Этот блокнот с десятком стихотворений я однажды украли у него и отослала в молодёжный журнал. Стихи опубликовали под моим именем. Богдан ничего не сказал мне на это.

С раннего детства мне и Богдану было привычным ощущать себя в окружении любящих родителей, нянек, бабушек, тётушек... Как хорошо было проснуться от того, что няня щекочет тебе пятки и шепчет какие-то добрые слова. А брат ещё спит, и на губах его улыбка от того, что теперь и ему няня щекочет пятки. И солнце яркое, горячее, близкое, летит, летит по нашим лицам сквозь белый тюль. И движутся светлые блики, и свежие, свежие розы из открытых окон зовут из палисадника к себе, где тропинки, где шуршание гравия под ногами, где стрекозы. И голос мамы где-то там, далеко: «Дети...!» И ветров шум в небесах, будто зовы ушедших в

миры вечных страданий, в миры бесконечного покоя, среди них и мои предки... Кто вы, где вы, те, кто был до меня, в ком когда-то текла та кровь, которая потом стала моей кровью...

Вот флаги эпохи, вот крики вождей, вот пушки грохочут, вот песни детей... Кто там покрывает саваном грудь, кто там умирает, кто там – всё забудь. Забыты рыдания, забыта любовь, всё пеплом покрыто, а жизнь всё идёт...

Вот я смеюсь, а кто-то плачет, вот я и ещё кто-то ненавижим друг друга, а потом миримся, а потом снова ненавижим. Сколько людей вокруг, сколько ссор, сколько дружбы, сколько лицемерия и потом раскаяния... Почему я плохая сегодня, и хорошая вчера? Почему я злая утром, и добрая днём? Откуда это? Что я есть? Куда это всё потом исчезнет, когда закроются мои глаза?

Мы все каждую ночь закрываем глаза, и сон объединяет нас, и мы становимся единым целым. Мы одинаково лежим, молчим, не видим вокруг тьмы, не слышим тишину, не чувствуем ночь. Нас так много, нас так много, нас – тьма, мы – сквозь все века – всюду мы. Вот снова мы растворились в том, что называется сон. И на всех стучит одно общее сердце. Но что за этим стоит, какие загадки, какие смыслы? И почему сон так похож на смерть? И что есть смерть, почему она есть, зачем она? А что есть рождение? Почему оно, зачем оно?

По вечерам, засыпая, я размышляла об этом, и мне становилось страшно от того, что там, до моего рождения, меня никто не знал, потому что я тогда не существовала, я была – кем? Я была смертью? Я была ничто, или нечто? Скорее – ничто? Или я была будущей жизнью? Тогда я сейчас – кто я сейчас, будущая смерть, это и есть я сейчас?! И вот, когда-то меня не было на этом свете, когда-то меня никто не знал, никто обо мне не думал, никто меня не любил, и я никого не любила. Но ведь и после меня, когда меня не станет, меня тоже никто не будет знать, и никто не будет меня видеть, и я никого не буду видеть и уже ничто не будет меня тревожить из того, что будет происходить на земле. И мне уже будет всё равно, помнят меня или нет. Или нет? Не всё равно? Меня не было, меня не станет, и что? И что?! Я никогда не буду? Навечно – нигде?! Навечно!!! В моём воображении возникала чёрная земля, внутри которой то, что когда-то называлось мною, и этому – что? Этому не будет конца? Дрожь бежала по моему телу.

Страшное, ужасное, холодное сковывало мою душу, я не хотела больше думать об этом, слёзы проступали на глазах, но я уже не знала этого, я спала. В одной со мной квартире спали родители, спал брат, спали няньки. Но мне уже не было дела до них. Мне снилась слава.

Однажды, в далёком детстве, папа привёл нас с Богданом на Красную площадь на поклонение красному богу по имени Ленин. Я со священным трепетом вошла в мрачное «святая святых», и увидела что-то страшное, что-то непостижимое в виде «вечно живого». Вот оно. Куколка гения. Призрак могущества. Вот он, вождь всех времён и поколений, вот он, предмет народного обожания. Как уютно он лежит в своей норке, и с какой жадностью люди льются к нему любопытными реками, обступают безумными хороводами. Они льнут к нему, своему идолу, приобщаются к его смертным токам, заражаются его мертвенной бесконечностью, упиваются его чёрной святостью, поклоняются его адскому бессмертию. И ему, главной персоне массовых игр, центральной забаве государственных маскарадов, в центре всенародных ураганов – быть там, внутри кокона смерти, совсем не страшно! Потому что с ним все эти люди, потому что он для них вечный, вечный! Вот она, слава! Слава убаюкивает и согревает, слава делает тебя сильным!!! Так шептались во мне чьи-то весёлые тени, обволакивали меня ядом. Я верила этим гусеницам, я слышала их завывание.

И тогда я решила – и слово это было горячо и наивно, страстно и бесповоротно – решила вот что: мне нужна слава! Вот достойная уважения цель жизни! Слава и только слава сможет спасти меня от этой страшной жизни, обещающей смерть по её завершении. Мне казалось, слава решит все проблемы, я буду счастливой... А дальше, говорила я себе, не важно... Я затыкала уши, надеясь таким способом не слышать внутри себя мыслей о смерти, и сердцем погружалась в мечты о славе.

Глава 3: Корни

Мои дедушки Революцию 1917 года встретили по-разному. Один, будучи зажиточным крестьянином, отнёсся к большевистским преобразованиям критически, другой, из бедняцкой семьи, – положительно. Один ушёл к белогвардейцам, другой воевал за красных. У обоих были красноречивые, говорящие о богатой религиозной истории дореволюционной Руси, фамилии. Дедушку по отцу звали Сергеем Поликарповичем Монастырским. А дедушку по матери – Иваном Николаевичем Боголюбовым.

Сергей Поликарпович Монастырский критично относился к собственной фамилии и любил рассказывать легенду, что на самом деле он – потомок настоящего декабриста, знаменитого Улыбышева, одного из участников нижегородского декабристского общества «Зелёная лампа». А фамилия Монастырский откуда взялась, это и для него загадка. Тут дед делал большие глаза и крестился сложенными в дулю пальцами. Вокруг смеялись, а моя боголюбивая бабушка в гневе выходила из комнаты, подальше и от мужа, и от прочих нехристей, как она называла мужниных друзей, любителей посудачить за самоваром воскресным вечером. Скорее всего, говорил Сергей Поликарпович, кто-то из предков получил эту антисоветскую фамилию при выпуске из духовной семинарии.

Вспоминать же о церковных корнях своей родословной дед не любил. Хотя в узком семейном кругу не отрицал, что «есть у нас среди родни свой поп». «Но с фамилией Монастырских это не связано». Дед говорил, что попа зовут Антоний и доводится он Сергею Поликарповичу племянником. Отношений с ним Сергей Поликарпович не поддерживал и разговоров об этом человеке в семье не поднимал. Жил Сергей Поликарпович так, как приказывала партия. А партия, известное дело, не была расположена к общению с церковными элементами.

Впрочем, сведения о таинственном племяннике деда нет-нет, да и просачивались. Это обычно случалось в семейном кругу, за праздничным столом, когда всем было тепло, уютно, пили чай, вспоминали жизнь... Так постепенно и сложилось общее родственное понимание жизненной истории о «попе Антоние», а также о его духовном покровителе схиархиепископе Антоние и их личной дружбе с самим Сталиным.

Сказ об Антонии

/записала подруга Веры Монастырской – Катя Небылица/

1. Исповедь

Сегодня Антон загружен делами. Уединился за ширмой на детской половине комнаты.

– Антон, а что ты там делаешь? – мама пытается заглянуть в детскую.

Бросившись к занавеске, Антон держит ее руками. Громко говорит:

– Мама, сюда нельзя. Идёт служба. Я – батюшка.

Подбегают другие дети. Шёпот, шорохи, мама что-то вполголоса объясняет.

Дети кричат:

– Мы тоже хотим в батюшку играть!

– Нет! У меня всерьёз. А вы смеяться будете.

Слышны возня, хихиканье, спор, хныканье. Приближается стук бабушкиной палки.

Свистящий шёпот обещает новую игру. Радостный визг, прыжки, бабушкино кряхтенье (это означает, что кто-то повис на бабушкиной шее), чмоканья (это поцелуи в бабушкину щёчку) и басистые смешки (это бабушка). Топот ног и шарканье тапочек всё тише, и вот уже на другой половине дома отдаленные взрывы детского хохота и повелительные возгласы взрослых. Антон прислушивается, бросает строгий взгляд на занавеску и возвращается к служебным обязанностям:

– Аминь.

На полу рассажены в рядок игрушки.

– Коля. Твоя очередь.

Накидывает на куклу салфетку, слушает, крестится, бормочет:

– Ох-ох, стыдно! Как плохо ты себя вёл. Чтобы в последний раз такое было!

Поет тоненьким голосом, ходит по кругу и покачивает кадилом, связанным бабушкой из пряжи от дырявых носков:

– Господи, помилуй... Господи, помилуй...

На Антона с иконы смотрит Бог.

Крестится, встает на колени и, склонившись до пола, шепчет:

– Прости, я маму не слушался.

Приподнявшись, встречается с пронизательным взглядом Господа, замуривается и, уткнувшись лбом в колени, продолжает:

– Сделай так, чтобы я слушался маму. И чтобы мама не сердилась, когда я ее не слушаюсь.

Перед сном, после маминой сказки и общих семейных молитв, Антон говорит:

– Мне надо на исповедь.

– Что-то случилось?

– Да!

– А мне можешь сказать по секрету?

– Я ни разу не исповедовался. Это грех!

– На исповедь дети начинают ходить с семи лет. Вот когда тебе будет семь лет, тогда и на исповедь.

Молчит, думает над мамиными словами. Спустя время, когда все уже засыпают, у маминой подушки раздаётся шёпот:

– Мама, ты спишь?

– Да.

– Нет, не спишь.

– А что?

– Сколько ждать, чтобы семь лет исполнилось?

– Два года.

– Это два лета, две зимы, две весны и две осени?

– Примерно так.

– Грехов же сколько накопится!

– Ну, хорошо. Через два дня – суббота. Перед вечерней службой попросим батюшку, он тебя исповедует. Раз грехов много – тогда, конечно, ты прав.

В оставшиеся до церковной службы дни Антон чертит на бумажном листике какие-то условные знаки, спрашивает у мамы, скоро ли суббота.

В субботний день мама вынимает из сундуков наглаженную чистую одежду, все, кроме папы («Папа всегда занят», – думает Антон), готовятся к поездке в монастырь.

Антон берет из-под подушки записку, исписанную одному ему понятными каракулями.

Мама с Антоном уходят раньше остальных, надо успеть до службы.

Неделю назад на воскресной Литургии было объявлено, что следующую субботнюю все-нощную возглавит архиепископ Дмитрий. Тот самый! С ним познакомились в Крыму.

+++

Как там, в Крыму, жилось, Антон знает из рассказов мамы. Папа об этом не любит говорить. Мама редко, всего, быть может, несколько раз, нарушала традицию и вместо привычных сказок рассказывала детям перед сном о том времени. У неё не получалось излагать подробно, да ей, видно, и не хотелось этих подробностей. Говорила она, прикрыв глаза, будто боялась увидеть наяву снова то, о чём вспоминала.

«Горе было. Голод. Всё отбирали. За одно лето вывезли с полуострова весь хлеб! Не помогло постановление об отмене продразвёрстки, и слово-то какое иудино выдумали. Если до двадцать первого года ещё хоть как-то жить можно было, то теперь конец всем пришёл. Людоедство начиналось. За краюшку хлеба убивали друг друга. Люди падали на дорогах и не вставали. Дети умирали. Папка ваш в коммунисты тогда записался, чтобы всех нас от голода спасти».

Мама молчит. Сёстры ждут. Антон и Игорь теребят маму. Они знают, что будет дальше, но не хотят, чтобы мама молчала. «А потом?», – спрашивает Антон. «Мама, говори!» – требует Игорь. «А что потом». Мама не хочет рассказывать самое страшное. Дети знают об этом. Об этом, страшном, родители могут говорить лишь, когда детей нет рядом. Но разве можно утаить. Да и сёстры помнят. Ползали и умирали на улицах истощённые дети. Молчали их обессиленные от голода родители, матери обнимали умерших детей, отцы обнимали матерей, и так умирали. Худые, костлявые лошади смотрели на людей человеческими глазами и валились на землю, и закрывали свои человеческие глаза. Никто тогда не мог жить. Могли только умирать.

«А потом, мои дорогие, была саранча!»

«А про саранчу расскажи, мама!» – требует Игорь. Он больше всего любит слушать про саранчу. Вот саранча летит, гудит, закрывает тучей небо. Вот уже поля, дороги, деревья, кусты – ничего не видно, всё будто собой накрыли живые, сотканые из саранчи, ковры. Кричат мужики, бегут, машут руками, воют бабы, визжат дети, бегут куда-то, хотят победить прожорливую предвестницу голода, проклятую саранчу. Но разве можно победить смерть. Ш-ш-ш, это смеётся, прыгает страшная, подлая саранча. О, какая огромная пасть. Какие длинные клыки. Нет, разве это саранча. Это настоящие летающие волки. Они съедают всё, что посеяно было руками крестьян, всё, что обещало людям не умереть от голода зимой. Но саранча смеётся над людьми. Она вообще такая, эта саранча, она любит смеяться над людьми. Она считает себя умнее людей. Поэтому и не боится их. Но зато люди знают особое слово против саранчи. Они знают, кого саранча боится.

«И КОГО?» – спрашивают в голос дети, у всех глаза широко открыты, ждут, затаив дыхание, продолжение этого чудного, жуткого и захватывающего рассказа.

«Бойтся того, кто владеет и небом, и землёй, и всей вселенной, того, кто повелевает ветрам и дождям, морям и солнцу. Того, кто создал всё вокруг, Творца этой жизни, Вездесущего Бога, в Троице единого. Не могли люди ничего поделаться с саранчой, сколько крымских сёл подверглось ужасной напасти, сколько опустошения и горя. Наш архиепископ, владыка Димитрий посоветовал народу Божьему вопреки угрозам антихристовой власти взять в руки иконы Божьей Матери и выйти в поле с крестным ходом, совершить молебны! К тому времени уже большевики держали его под домашним арестом в Топловском монастыре, и не руководил он уже епархией, но его слово услышали во многих сёлах... Начались крестные ходы. И – нет саранчи...»

«Мама, а когда про нашего Антона?» – торопит Игорь.

Сёстры шикают на брата.

«А теперь и про Антона. Ему в ту пору ещё и года не было. Никого в нашей семье бушевавший тогда тиф не тронул по милости Божьей. А вот Антона не уберегли. Горит. Умирает. Ах, Боже! Помню, стою я в храме, в Топловском монастыре. Плачу, убиваюсь. Подходит ко мне игуменья Параскева. Берёт за руку («Владыка тебя к себе зовёт») и ведёт куда-то. Оказалась я в неизвестном мне доме, вокруг тихо, чисто, стены сплошь в образах и лампадах. Вышел ко мне из внутренней комнаты владыка Дмитрий. Благословил меня. Встал перед иконами, перекрестился, стал молиться. Мне показалось, долго молился. Потом говорит: «Будет мой крестник жить. Не плачь. А сделай вот что. Ночь не спи, а молись до утра над постелью сына. А утром, когда выйдет крестный ход в поле, вынеси ребёнка, положи прямо под икону Божьей Матери». Сделала я всё, как велел владыка. И выздоровел наш мальчик. Царица Небесная услышала».

«А про улыбку Божьей Матери когда», – напомнил Антон.

«Когда ночью молилась я, то вижу, Матерь Божья мне с иконы улыбается. Я думаю, чудится. Глаза протёрла, шепчу молитву, а сама смотрю на икону. И вижу: правда, двигаются уста у Царицы Небесной, улыбается мне с иконы! И появилась во мне уверенность, что будет мой Антон жить!»

«А про владыку расскажи! Про крещение», – Антон готов каждый день слушать про крещение и про владыку.

«Родился наш Антон Рождественским постом на Илью Муромца и мученика Вонифатия, 19 декабря 1922 года. Это по нашему. Ну, а по их, так 1 января. Привела я вас на Рождество в Топловский храм, а тебя, Антон, семидневного, держу на руках, стою во дворе, а вы внутри храма. А мне на службу не положено. Это по уставу церковному так. Ждать надо матери после рождения ребёнка сорок дней, и лишь потом можно в церковных таинствах ей снова участвовать. А холодно стоять. Хоть и Крым, а ещё как зябко! Но стою, молюсь. Согреваю под платком малыша. И думаю о том, когда же и как покрестить новорождённого. Вижу, идёт в окружении людей сам архиепископ опальный. Возле меня остановился, расспросил, кто я, откуда, и говорит: «Через два дня приноси ребёнка, будем крестить». И покрестил нашего Антона. И сам ему имя дал. Я-то думала, Ильёй назовёт в честь Ильи Муромца, в чей день родился, а он иначе рассудил. Видишь, Антон, у тебя какой покровитель небесный. Отец всех русских монахов».

«Хочу быть монахом. Как Антоний Печерский», – говорит Антон.

+++

Настроение у всех торжественное. Дети уже наряжены в самое лучшее («К Богу надо ходить в чистом, во всём хорошем, праздничном», – говорит бабушка). Катя и Настя ходят по комнатам неспешно, с многозначительными лицами и говорят шёпотом, как бы показывают остальным, что в шесть-семь лет дети уже умеют быть как взрослые – степенными и серьёзными. Игорю игра во взрослых надоедает. Малыш кричит, хлопает в ладоши и делает страшные глаза. На него шикают, сёстры снисходительно улыбаются.

Все ждут чего-то особого, такого, что волнует и наполняет предчувствием доброй сказки...

Собравшиеся в храме стараются не нарушать тишину разговорами. Из-за деревянной ширмы неразборчиво доносятся приглушенные голоса исповедников.

– Антон, иди, батюшка разрешил. Во время исповеди не крутись, стой спокойно, опустив голову. Руками не размахивай. Не смейся. И не забудь, взрослым надо говорить «вы», а не «ты», – скороговоркой напоминает мама уже неоднократно озвучиваемую за минувшие сутки инструкцию.

– А вот Богу можно говорить «ты», – подытоживает Антон.

– А почему так? – спрашивает старушка из очереди.

– Потому что Он – Отец.

Хочет еще что-то сказать, но мама подталкивает туда, где ждут. Взгляды окружающих людей устремлены на мальчика. Делает шаг вперед... Из-за ширмы выглядывает отец Андрей и смотрит на Антона.

Идёт к батюшке, ему очень хочется оглянуться на маму, но пересиливает себя.

– Дитя мое! Христос невидимо стоит перед тобою, принимая исповедь твою. Не стыдись и не бойся, не скрывая ничего от меня, но скажи всё, в чём согрешил, не смущаясь, чтобы принять оставление грехов от Господа нашего Иисуса Христа. Вот образ Его пред нами: я же только свидетель, чтобы свидетельствовать перед Ним всё, что скажешь мне. Если же что-нибудь скроешь от меня, будешь иметь двойной грех. Ты пришел в лечебницу – не уйди отсюда не исцелённым...

Антон вспоминает, что делает мама в таких случаях, и тоже крестится, кланяется, затем тянется на цыпочках, чтобы поцеловать Евангелие и Крест, но не достает. Священник поднимает мальчика, и тот прикладывается к святыням.

– В чём бы ты хотел покаяться?

Роется в кармане, вытягивает носовой платок, деревянную свистульку, и, наконец, находит нужное в другом кармане – бумажный комочек, слипшийся от растаявшей шоколадки. Её сунула внуку бабушка. (Грандиозный запас шоколадных лакомств сделан был бабушкой ещё с дореволюционных времён, когда один из её сыновей уехал из Крыма на заработки в Москву, работал в Сокольниках в знаменитом Фабрично-торговом товариществе Абрикосова и имел возможность баловать родню шоколадом. Об этом хорошо знали все родственники. Во многом благодаря этому шоколадному, на вес золота, запасу удалось потом пережить голод.) Антон расправляет обеими руками листик и смотрит на содержимое записки: жирные шоколадные кляксы напирают одна на другую, поглотив написанное. Вокруг распространяется аромат шоколада. Бумага в руках подрагивает от падающих на неё слез. Антон переводит взгляд на вопросительное лицо близко наклонившегося отца Андрея, сдвигает брови, сжимает бумажку в кулаке, мнёт, прячет в карман. Вспоминает мамин совет о пользе носового платка. Вытирает руки и щёки платком.

– Совет на будущее. Шоколад лучше хранить в фольге, или пергаменте, – говорит отец Андрей.

– А я обёртку потерял.

– Может, я смогу прочесть? – отец Андрей кивает на испачканную шоколадом бумажку. – Ты грехи свои там написал?

– Почти...

– Как это – почти?

– Я по-настоящему ещё не умею писать.

– Наверное, готовился к исповеди, но сейчас немножко забыл, что собирался рассказать, так?

Антон глубоко вздыхает, смотрит батюшке в глаза.

– Попробую помочь... Наверное, ты не слушался маму. Так?

Антон ощущает дыхание батюшки. Их лица почти соприкасаются. В знак согласия сильно зажмуривается, а потом широко открывает глаза и делает брови домиком.

Отцу Андрею не понятна такая сигнализация.

– Я не вполне уяснил, что ты хотел этим сказать.

– Это я так киваю головой.

– Как это?

– Вместо головы кивают мои глаза.

– Ммм... Зачем?

– Если кивнёт голова, то наши лбы столкнутся. И будут шишки. Как у нас с мамой.

– В общем, непослушание было.

– Нет. Шишки не потому вскочили.

– С шишками разобрались. Дальше. Согрешил ещё тем, что... обманывал старших, так?

Собирается ответить, но спохватывается, и прижимает ко рту ладошки.

– Так что?

– Нельзя об этом говорить.

– Тайна?

– Да.

– Но перед Богом нет тайн, Антоний.

– Вы так шутите, что вы – Бог?

– Священник – посредник между кающимся и Богом. Через священника Бог принимает тайны кающегося грешника и прощает ему.

– Вы только Богу расскажете? А больше никому?

– Никому.

– Я никого не обманываю.

– И всё? Но это разве тайна?

– Об этом нельзя рассказывать. Потому что получается хвастовство. А мама говорит, что хвастать – грех.

– Ты не хвастаешься. Ты ответил на вопрос. Ещё хочешь в чем-то покаяться?

– Хочу.

– В чем?

– Я скоро засмеюсь. А мама сказала, что смеяться тут нельзя.

– Потерпи.

– Уже не могу терпеть.

– Почему же?

– Меня ваша борода щекочет.

Повисает тишина. Отец Андрей разгибается. Несколько секунд священник и исповедующийся стоят в молчании. Из глубины церкви слышны детский смех и шиканье взрослых.

– Теперь я вас не вижу. Так не интересно. А мама говорила, что голову нужно опускать, когда исповедуешься, – глядит себе под ноги.

С высоты доносится голос батюшки:

– Может быть, ты перебивал старших, спорил, настаивал на своем мнении? Был недоволен тем, что у тебя нет таких игрушек, как у других? И даже, не исключено, однажды подрался? Поворчал, что рано забирают с прогулки домой? Хотел первым протиснуться на горку и отпихивал других? А может, тебе не нравится, например, борщ, и ты отказываешься от трапезы, и даже иногда не доволен той или иной пищей, которую тебе предлагают дома? Вполне возможно, что ты не так давно топал ногами, кричал, возмущался, сердился, громко плакал?

– Откуда вы всё это знаете? Вам Бог рассказывает?

– Это распространённые грехи. Все грешат, к сожалению.

– И батюшки из церкви не любят борщ кушать?

– Ммм... Знаешь, там очередь, столько людей, все ждут. Давай завтра продолжим наш разговор.

– А то они станут пихаться в очереди?

– Ммм...

– А как же грехи?

– Потом вспомнишь.

– А на батюшек учат?

– Да.

– А можно батюшкой стать просто так?

– Нет.

– Я вспомнил грех. Я вчера был батюшкой. И Колю исповедовал.

– Ммм... Колю?... Эээ... Какого Колю?

– Это кукла моя. Её Колей зовут. Это грех?

– Играть не грех.

– Я всерьёз.

– И всерьёз играть не грех.

– Но вдруг я сделаю новый грех!

– Надо бороться с собой.

– Самого себя дубасить?!

– Например. Если рассердился – остынь, не кричи.

– Чтобы остыть, надо чай с малиной, и жара не станет. Так моя бабушка говорит.

– Вспоминай, что Бога нельзя огорчать грехами, и что Бог всё видит. Гнев и уйдёт.

– Ножками?

– Эээ... Ну, это образное выражение. Просто как бы его не станет. Уйдёт, одним словом.

– А куда уйдёт? К другим людям?

Пока отец Андрей собирается с мыслями, Антон продолжает процесс беседы.

– А откуда уйдёт, из дома? Навсегда? И даже в гости не придёт?

– Ооо... Ну...

– Я дверь открою и из дома гнев выгоню. А дверь на два замка и на цепочку закрою.

Тогда гнев не придёт больше.

Отец Андрей прокашливается и говорит, восстанавливая мысль с прерванного места.

– Если не нравится борщ – смолчи, и порадуй маму послушанием.

– Нет, не буду я борщ есть!

Батюшка кладёт руку на голову мальчика.

– Ты споришь?

– Нет! Не спорю! Я говорю правду. Я взаправду не буду борщ! В нём капуста и лук плавают.

– Тогда...

Наступает пауза.

– Что? – спрашивает Антон.

Вопрос остаётся без ответа.

Батюшка отворачивается, наклоняется к стоящей в углу тумбочке, что-то ищет в выдвижном ящике. Находит яблоко, отдает Антону.

– Спаси тебя Господь.

На голову кающегося водружаются епитрахиль и тяжелая рука батюшки. Звучит разрешительная молитва о том, что все грехи Антония «отпускаются».

Антон шагает на выход, но с полпути возвращается.

– Спасибо за яблоко! Спасибо, что исповедал меня. Ты хороший!

Он вспомнил, что нельзя говорить «ты». Но по-другому сейчас не может, потому что сердце переполнено благодарностью.

– Я тебя буду всю жизнь жалеть.

В понимании Антона «жалеть» – высшая степень любви.

Батюшка, вероятно, это прочувствовал. Он склоняется близко к лицу мальчика и говорит:

– И даже моя борода не помешает?

– Нет! – чистосердечно признаётся.

– Тогда ты меня крепко утешил.

– Да?! По-честному?!

– По-честному.

Антон что-то вспоминает, хитро улыбается, ищет в кармане и достает последний ломтик шоколада, священник понимающе кивает и принимает угощение. Антон обнимает отца Андрея за колени, вжимается лицом в священническую рясу и вприпрыжку убегает.

Выбежав к людям, резко останавливается, вспомнив один из наказов мамы вести себя в храме чинно. Смотрит по сторонам: вокруг так много ног. Народ расступается. Антон идёт, прижимая к груди, как некую драгоценность, батюшкино яблоко. Ищет взглядом маму, кивает ей, что все нормально. Степенно поворачивается к алтарю, крестится.

– Всё нормально? – шёпотом спрашивает мама.

– Почти.

– А почему «почти»? – раздаётся чей-то весёлый голос над головой Антона.

Мальчик видит перемену в лице мамы, она чему-то обрадовалась, склонила голову, сложила руки под благословение. «Антон, бери благословение!» – слышит мальчик. А владыка уже прижал к себе голову Антона. Голос у него добрый, это Антон чувствует, но взглянуть на архиепископа стесняется.

Люди желают получить благословение у владыки, тянут руки, теснят друг друга, но архиепископ ждёт ответ, почему Антон сказал «почти», так значит, не всё прошло нормально на первой исповеди? А?

Мальчик смотрит в лицо владыке Дмитрию, видит в его глазах улыбку, и, осмелев, отвечает:

– Батюшку жалко... Надо батюшку жалеть. Он всех утешает, а его никто.

– А тебя утешил?

– Да. Теперь я могу Богу в глаза глядеть.

– Вот и молодец. А кем хочешь стать, когда вырастешь?

– Батюшкой.

– А не страшно? Вон, какие времена наступили. На церковь гонения. Священников убивают, в тюрьмы сажают.

– А разве может быть страшно, когда за Христа?! – удивляется Антон.

Владыка склоняется к Антону, говорит ему тихо, так, что слышат только Антон и мама:

– Правильно, Антон. Ты же **мой** крестник или не мой?

Антон оглядывается на маму. Мама подбадривающе кивает.

Владыка протягивает Антону книгу, специально приготовленную к этой встрече.

Евангелие! Это настоящее сокровище, о таком подарке и мечтать не мог Антон!

Архиепископ скрывается в алтаре, Антон смотрит на маму. Замечает, как радостно её лицо. Ему хочется что-то сказать, передать свои чувства, но что сказать, как выразить то, что в душе? Он молчит. Мама кивает ему, и тоже молчит. Они ждут начало службы. Вот и сёстры, брат, бабушка, только-только появились. Чуть не опоздали. Обступили, расспрашивают, как прошла у Антона первая в его жизни исповедь. Уже слышен звон колоколов, людей стало ещё

больше. В правой части храма – фигуры в чёрных монашеских одеяниях. Строгие молитвенные лица. Всё это вызывает в душе Антона восторг.

Вечером, когда все в доме давно спят, мама рассказывает Антону о жизни в Крыму, о том, как пришлось с ним, годовалым, срочно покинуть полуостров из-за гонений на верующих. Как владыка Димитрий взял над их семьёй опеку, ехали вместе с владыкой. А по Крыму громили монастыри, разоряли храмы.

2. Комиссар

- Дядя, ты кто? Чекист?
- Я просто дядя, а ты?
- А я Антон Монастырский. Из Красного Восхода. Что за Карасевкой.
- Что-то не похож ты на местного.
- Да, мы не отсюда. Сначала в Крыму жили, потом под Киевом, теперь вот, поближе к бабушке перебрались. Они с дедушкой в соседнем с нами селе.
- Что же вы столько путешествуете, с одного на другое место бегаете?
- Это всё из-за революции.
- Вот как. Что ж один? От мамки, что ли, сбежал?
- Антон сдвинул брови. Он же не маленький...
- Дядя. Ты лучше мне скажи правду. Ты комиссар ОГПУ, да?
- А ты почему так решил?
- Да сапоги у тебя до колен, и галифе, и шлем со звездой, и френч.
- Глянь, какой малец, это кто тебя военным премудростям обучил? Учителя?
- Батя.
- И что теперь?
- А вот что.

Антон оглянулся. Дорога перед сельсоветом дымилась от жары и пыли. Отдыхал под колесом грязной телеги кот. Лошадь вздрагивала от слепней и поводила ушами, будто прислушиваясь к храпу мужика. Мужик лежал внутри телеги и морщился во сне от мух. Из-за двери сельмага выглянуло лицо молодой женщины. Её глаза остановились на Антоне. Женщина махнула ему рукой и сказала строго: «Смотри мне!»

- Мамка твоя?
- На вопрос мужчины мальчик не ответил, сказал:
- А вот что. Глянь.
- И медленно перекрестился, не сводя с дяди глаз.
- Мужчина молчал.
- Что ж ты стоишь, дядя?
- А что надо делать?
- Как что. Ты же красный. Арестуй меня. Видишь, я в Бога верю. Вот, смотри.
- Антон подошёл ближе, и глядя снизу в глаза чекисту, снова перекрестился.
- Ты сказал, тебя Антон зовут?
- Да. Антон Монастырский.
- Антон. Ты мамку с батькой не любишь?
- Антон нахмурился.
- Чего молчишь?
- Я тебе сейчас не о мамке.
- Так, Антон, послушай, за религиозную пропаганду не тебя ведь, а мамку арестуют. Вот чего ты добиться можешь.
- Почему?
- А потому. Тебя по малолетству не тронут, а вместо тебя мамку – по этапу в Сибирь. Вот такие дела. Ну, веруешь и веруй, а лезть-то на рожон зачем, а?

...«Рожон»... Мама тоже говорит так. И что это такое – «рожон?».

... Антон очнулся. Всё так же мерно колыхалась в такт поступи лошади белесая, без конца и края, степь. Лезли в нос поднимаемые с пылью травинки. Взлетали красивые бабочки, вспыхивали в лучах и исчезали где-то в солнечном свете.

– О, Слепец наш, – сказала над ухом Антона мать и чмокнула детскую макушку.

Она запела:

– Над степью небо серебрится,
мой сын-роднуля сладко спит.

А я ему налью водицы,
и буду петь, душа горит.

Горит душа в молитвах жарких,
то к Богу сердце ввысь летит,
расти, мой сын, будь смелым парнем,
Господь тебя пусть сохранит!

– Что, мать, душа всё поёт? Ах, и хорошо до чего, мать, когда благодать вокруг Божья, вот душа и поёт. А благодать-то, сама знаешь, до самого неба, весь мир под благодатью. Только, беда, люди того не чают.

Антон выглянул из-под руки матери и посмотрел на слепого старца. По щекам старика ползли слёзы. Мальчику хотелось спросить маму, почему у старца так часто слёзы.

– Антон твой, Дарья, будет радовать людей Божиих, – сказал старик.

Слепец плакал и качал головой, говорил он ясным, чистым голосом, в этом голосе Антон слышал звон колокольчиков. Ему так казалось. Если человек говорит по-доброму, то будто колокольцы звенят. Это как в лесу. Нагнёшься к какому колокольцу, а он синим кувшинчиком ткнётся тебе в нос и так зазвенит, будто молитву читает. Вот как дивно Бог мир сотворил. А тут и птаха вдруг раз и вспорхнёт, прямо обдаст ветром, и уже где-то под небом помчится птичья песня. Каждая травинка, каждая пичужка Бога славит. До чего чудно на свете Божьем жить. Удивляется Антон.

– А что ж ты плачешь всё, дедушка Игнатий, – матушка положила деду в котомку угощения.

Слепец сказал:

– Вкусный ты, Дарья, хлебушек печёшь, такой духмяный. Смотри, Дарья, завтра гости придут, так ты им корову не отдавай.

Гости пришли на рассвете, с шумом, громко заговорили с порога, застучали в сенях ногами. Гавкал и рвался во дворе с цепи Агат, кукарекал возмущённый Орлан.

Антон проснулся и вспомнил слова Слепца, и как мама ждала вечера, чтобы рассказать об этой удивительной встрече папе. И когда, наконец, устроились всем семейством на печной лежанке, прижались шестеро друг к другу, мама поведала папе насчёт предсказанных старцем гостей.

– Не верю я в предсказания, – сказал папа. – Как вообще человек что-то может знать о будущем?

– А наш дед Игнатий особенный. Как что скажет, так и будет.

– Совпадение.

– Ну вот, посмотрим, исполнятся слова старца или нет.

– Посмотрим, посмотрим.

В голосе папы мальчику слышится улыбка. Папа добрый, думает Антон.

Потом мама шептала Антону на ухо:

– Ишь, чего выдумал, чекисту – о Боге, и зачем, зачем!.

– А я, мама, мучеником хочу быть, как Вера, Надежда, Любовь! Тоже ведь дети, а – вон, за Христа жизнь отдали! И за то в Царство Небесное пошли! Я, мама, тоже так хочу!

Где-то скреблись мыши, а то вдруг всхрапывала за окном Милка. И тогда папа сонно приподнимал с лежанки голову и говорил: «Чу!». Это смешило Антона. А папа добавлял уже в адрес жены: «Иди спать. Хватит под иконами стоять. Доверчивые вы, бабы, в сказки про Бога верите».

Антону непонятно, как можно такое говорить. Папа, Николай Поликарпович Монастырский, – знаменитость, участник Всесоюзного съезда безбожников в Москве. По возвращении из столицы в местном клубе выступал, рассказывал, кого видел. Заведующая школой, учительница Анастасия Семёновна Иванова головой качала, надо же, Горького с Маяковским лицом к лицу зрел. Неужели и они – безбожники?

«Да. Великие классики советской литературы – великие безбожники! Вот с кого пример надо брать! Маяковский так и сказал: «Раньше у нас по завершении дела говорили «с Богом», а мы теперь будем говорить «на Бога». Во как!» – вещал со сцены Николай Поликарпович Монастырский.

«А Максим Горький что, тоже ругался на Бога?» – спросила Анастасия Семёновна, женщина набожная и строгая нравом. Взгляд её был внимательный и скорбный.

Николай Поликарпович хмыкнул: «На Бога! Поняли?» Прищурился, засунул руку в карман, грудь выпятил. Это была любимая поза Николая Поликарповича, он хотел быть похожим на любимого вождя.

В клуб людей набилось – в проходах стоят, но тихо. Боятся высказываться. Николай Поликарпович понимает обстановку, чувствует себя героем.

«А Горький сказал: Библия – книга интересная, но всё в ней враки. И если и можно читать, то со специальным разъяснением по поводу всех моментов вранья. Так-то! А ещё предложил товарищ Горький сочинить на церковную музыку новые, не испорченные церковным мракобесием, тексты, в соответствии с моментом истории».

«А вы, Николай Поликарпович, тоже речь держали?»

«А то! Ещё как держал!»

«И всё против Бога?»

«Против таких, как вы, товарищ Иванова. А сказал то, что требовалось сказать. Что есть у нас по сей день несознательные элементы, которым религиозный опиум не даёт времени наводить порядок в школе. В классах грязно, дети из-за холода в шапках и варежках, печь топят не регулярно, то один раз в два дня, а то и реже. Стёкла выбиты. В ведра с питьевой водой грязь сыпется. Ученики в одной компании с учителем курят. Домашних заданий не выполняют. На уроках шум, ругань. Питания горячего в школах нет. А школьного ячменя уворовали до семи центнеров».

«Требуется пояснение, Николай Поликарпович. То вы в газете «Красный колхозник» прочитали. А там писали не про нашу школу».

«Чу», – повторял про себя Антон. Как интересно. Скажешь слово, а за ним целый мир. Вот папа сказал «чу», а вот есть слово хорошее, на «чу» начинается – чудеса. И разве не чудесно, висит за окном луна и все-все-все её видят. А потом вместо луны появится солнце, и где-то там, на солнце, взгляды людей будут встречаться друг с другом. Там, на солнечной планете, они не чужие и не враги друг другу. И даже красные и белые друг другу там – не враги. И верующие, и неверующие – они тоже друг другу на небе – не враги. И папа Антона там – совсем другой. Потому что солнце одно на всех, и луна тоже. А над всем этим – Тот, кто сотворил не только солнце и луну, а всё и вся.

«Спаси, Мати Божия, сохрани, Мати Божия!» – слышал Антон голос материнский и начал вслед за мамой молиться. И молитвы превращались в звёзды, и звёзды сыпались с неба через открытое окошко к Антону на подушку. И снилось ему, что стоят они с мамой и папой

и сестричками на облаке, молятся, а по небу к ним Сам Господь с Матерью Божией идут и улыбаются.

Проснулся Антон. И не страшно, что люди злые в доме. (Когда Бог рядом, разве может быть страшно). А у них голоса, у-у-у... А один голос вроде добрее, и вроде даже знаком.

Антон высовывает голову из-под одеяла и зажмуривается от света. Солнце бьёт в глаза. В солнечных лучах фигуры гостей кажутся чёрными-пречёрными. Лиц не видно. Расхаживают по комнате, подходят к печи, там слышны перешёптывания и смешки.

«Дяди-дяденьки, где ваши валенки, квасом будем угощать, и на свадьбу приглашать!» Это Катюха. На сестёр шикают. Те щекочат брата, Игорь хохочет.

За столом сидят папа и мама, сложили на коленях руки. Папа, как увидел гостей, так стал таким задумчивым. И взгляд отстранённый. Смотрит на пришедших, будто это не они, а он гость в доме. И молчит. Мама закуталась в платок из козьей шерсти. Под платком у мамы большой живот. Мама ждёт малыша.

– Ничего такого у вас вроде нет для экспроприации, – сказал один из мужчин, оглянувшись и увидел проснувшегося Антона.

– О, старый знакомый. Ну, здорово, что ли.

Мужчина улыбается. Протягивает Антону руку. Мальчик пожимает руку, смотрит в глаза человеку в военном френче и как тогда, возле сельсовета, крестится. Мужчина подмигнул мальчику, присел на корточки, сказал так, чтобы никто не услышал:

– На улицу выйдем, я тебе секрет открою.

За окошком видно, как по двору люди ходят. Вот один спугнул Мурзика, заглянул в комнату, распластал тёмные руки по освобождённому от кота подоконнику.

– Товарищ комиссар, разрешите доложить. Осмотр дворовой территории показал – имеются в хозяйстве корова, две лошади, куры. Будем забирать?

Комиссар взглянул на Антона.

– Что, Антон, скажешь?

Удивительно Антону – все на него смотрят, словно от ребёнка тут что-то зависит. Папа смотрит на Антона так пристально. Будто сказать что хочет.

Антон – не трус, и будет говорить правду.

– А то скажу. Нельзя нам без коровы. У нас дети малые. Детям молоко нужно. И скоро пятый родится. И ему тоже молоко будет нужно.

– Смелый, – сказал за окном чужой и хохотнул. Потянуло дымом. Это чужой закурил.

– Отойди, Возницкий, не дыми сюда, беременная в доме, – сказал комиссар.

– Ты у нас, товарищ комиссар, известное дело, жалостливый. Да я не против. У меня самого жинка на сносях.

Голова исчезла. В окне стало видно, как собираются за изгородью сельчане, гомонят, посматривают во двор Монастырских.

Сегодня в селе ночь была беспокойной. Бригады ходили. Опустошали зажиточные семьи. Раскулачивали.

А Монастырским повезло, переговариваются соседи, уходят от Монастырских злодеи с пустыми руками, кормилицу-корову, вот удивительно, не тронули, и на подводу ничего не погрузили.

Выбежал на крыльцо Антон, стоит босой, рёбра под кожей ходят, трусы синие до колен. Отец выглянул, взглянул на сына, потрепал по голове, ушёл в избу.

– Эй, дядя, – зовёт Антон. – Ты что, забыл?

– А, да, – вернулся комиссар. – Я же тебе секрет сказать хотел.

Кивнул на крестик деревянный на груди мальчика:

– Не боишься носить?

– Нет.

– А я свой запрятал.

– Неужели и у тебя крест есть, неужели в Бога веришь? – спросил Антон.

– А куда деваться, ведь Бог есть, это и так понятно. Не было бы Бога, не было бы нас с тобой, и вообще ничего бы не было, ни планеты нашей. Ни этого солнца. Правда, я об этом никому не объявляю, да и крест, каюсь, не ношу. А мать-старуха меня за это пилит.

– А что за секрет ты мне сказать хотел?

– Так вот этот самый. Что я тоже в Бога верую.

– Так ты, значит, тайный христианин, – Антон кивнул в знак понимания. – В древние века много было тайных христиан. Я тебя никому не выдам. Даже под страхом казни.

– Ты, парень, молодец... Да, вот что... Если корову придут забирать...

Комиссар достал из кожаной сумки блокнот, написал химическим карандашом: «Корову, а также и всё прочее из дома Монастырских – не изымать. Воронин».

Вырвал лист.

– Держи охранную грамоту.

3. Страшная ночь

Ночью по селу лаяли собаки, в окнах домов горели огни. В западной части, возле любимого детьми оврага и избушки слепого деда Игнатия, полыхал подожжённый крестьянами дом Петра Бояринова, одного из пяти членов колхозной партячейки. Ходили, уже давненько, слухи о нём, как о тайном осведомителе ОГПУ. «Сколько людей продал, сколько душ загубил», – судачил народ о Бояринове. А недавно кто-то донёс в областной центр на местного «скомо-роха», гармониста-частушечника Мальцова Ивана за его песенки: «Было жить на свете лучше нам при батюшке-царе. Кто же нам грехи отпустит, храмы рушат, всё в огне»... «Чем меньше коммунистов будет на селе, тем больше будет хлеба везде по всей стране». За антисоветскую пропаганду Мальцова расстреляли. Вывели гармониста ночью, не дали одеться, и в этом самом овраге, под боком у Бояринова, и расстреляли. Без суда, без следствия.

Говорят, Слепец Игнатий, любитель ночных молитв на краю оврага, прятался в кустах и слышал, как пел перед смертью Мальцов: «О, Господь мой, Матерь Божья, я иду к вам навсегда, жизнь моя была негодной, но помилуйте меня!» Слышал Слепец, как ругались палачи, и всё стреляли и стреляли в гармониста, а тот пел и пел... «Смерть мне в радость, смерть – отрада, к Богу я теперь иду, ничего мне здесь не надо, только Бога я люблю! Но прошу Тебя, о Боже, не забудь детей моих, и жену-вдову помилуй, вот о них Тебя прошу! Пусть всё будет у них сладко в этом горьком бытии, а когда придёт их время, с ними быть хочу в раю!»

Бояринов, как отметили в селе, глаза от людей прятал, на улицу в те дни не выходил, больным, вишь, сказался. Это он, гад, загубил Мальцова, решили мужики, это он осиротил девчущку с пацаньчиком. Матери с тех пор больше не пускали в овраг детвору, опустело любимое место для игр в войнушки.

И вот теперь метался Бояринов, причитала его родня перед горящей избой, а пожар не унять.

Не спали в ту ночь и в избе Монастырских. Да и как уснуть, если хозяина нет. Вечером, когда дети начали уже дремать и пел над окошком соловей, пришли к Николаю Поликарповичу хмурые, молчаливые дядьки, всё из местных, из бедняков, Коровин, Шестопалов, Криволапин и Брыдько. Дарья Андреевна задёрнула занавеску по центру хаты, затаилась на подушке. Молилась про себя. Антон тоже не мог спать. А мужики беседовали долго, звякали кружками, отец разливал самогонку. «По чуть-чуть. А то дело провалим. Огурцы, хлеб, ешьте». – «Хорошо живёшь, Монастырский. Тебя тоже не мешало бы раскулачить». – «Вон, половина села в кулаках. Сейчас нараскулачиваешься».

Ушли, наконец. Дарья приподняла голову, тихо. Да, точно. Раскулачивать пошли. Горе. Жалко народ. Ребятишек малых оставят без молока, без хлеба, сколько людей пострадает. Беда.

– Дети, ну-ка, лежите тихо. Видите, что в селе творится.

Детвора пошептала, да и заснула. Антон лежит с открытыми глазами, слушает, как мать молится, прислушивается к ночным звукам. Ах, как сильно собаки лают, да как дружно, звонко. И коровы мычат, и лошади шумят. По всему селу трезвон. Что за ночь.

– Антон, ты почему не спишь?

– Мама, а я по бабушке с дедушкой соскучился. Съездим в гости?

– Съездим.

– А когда?

– Вот поспокойнее станет в селе, там и будет видно. Может, на Успение Божией Матери.

– А малыш скоро родится?

– Скоро, Антон.

– А когда?

– Бог даст, на Успение.

– Слава Богу.

– Да, Антон, слава Богу.

– Мама, а шумят как в селе, тебе страшно?

– Молиться будем, под покровом Матери Божьей не страшно.

– А как же люди, которые не молятся. Как они живут, страх ведь какой – без Божией помощи жить, без благодати.

– Да, это страшно, Антон. Вот и будем не только за нас, но и за тех людей молиться, чтобы Господь помог всем.

– Мама, давай вдвоём молиться.

– Давай, Антон.

Мальчик слезает с печи, встаёт рядом с мамой на коленки перед Божницей. У мамы лицо сосредоточенное, голова покрыта повойником. К молитве мама подходит особо тщательно. Чтобы мысли «не гуляли». И чтобы всё было подготовлено для молитвы, и порядок вокруг, и одежда опрятная. («А уж перед тем, как в церковь идти на Причастие, обязательно накануне выкупаться, в бане всю грязь с себя смыть».) И детей тому учит. Но они малы, им перед сном молитвы покороче – «Отче наш...» и «Богородице, радуйся...». А вот Антону, как старшему, можно и побольше. А он тому рад. Нет для него ничего слаще на свете, чем молитва. Да и как не любить разговор с живым Богом! А уж как нравится мальчику молиться вместе с мамой. Любит Антон такие мгновения. Мерцание лампадки перед иконами будто душу согревает. Взгляд Христа близкий, родной. Матерь Божия смотрит ласково. Повторяет Антон шёпотом вслед за мамой: «Господи, помилуй всех, кому сейчас плохо, помилуй всех, кто Тебя не знает, помилуй всех заблудших, озлобленных, кому некому помочь, кто страждет, жаждет, кто плачет, кто при смерти, кому угрожает опасность...»

В избе тихо-тихо, слышно сонное дыхание Игоря, Кати и Маши на печи. Спят девочки, обнявшись, что-то доброе им снится. Лица спокойные, радостные. Перед сном мама напоила детей парным молоком, дала по ломтю свежего хлеба. Щёчки зарделись, волосы русые разметались, хорошо как... Уютно, по-доброму всё. Ах, мама, как нам хорошо жить, думает растроганно Антон. Игорь, Катя и Маша подрастают, а скоро ещё один малыш родится. И так у нас всё дружно. А ведь это Бог нам такую радость даёт. Это от Бога и дети, и хлеб, и молоко, и доброта, что в семье, и всё-всё-всё хорошее вокруг, это всё Он, Господь наш, Он хозяин, Он – самый главный на этом свете. А потом настанет время, когда и папа будет с нами молиться, думает Антон. Ведь папа добрый, хоть на словах Бога и ругает. А ведь иконы в доме не срывает, кресты носить не мешает. И мама этому вон как рада, говорит: «В папке нашей совесть не умерла». Да, он обязательно поймёт, как ошибался, раскается, попросит у Господа прощения, а Он, милостивый, конечно же, сразу и простит. Он любит нас, да и как не любить своих детей. Вот папа любит меня, я его сын, думает Антон. А у Бога все люди на Земле – его дети, Он им дал жизнь. И как Господу обидно, что дети знать Его не желают. Плачет Антон, ах, как жалко ему Бога, как обидно за Него, что не хотят те, кому Он дал эту землю, эту прекрасную жизнь, не желают познать своего Творца.

Папа вернулся домой под утро. Антон чутко спит, сразу и проснулся, как услышал шаги папы во дворе, да и Агат зашумел, обрадовался хозяину, слышно, как прыгает. Антон улыбается. Вот сейчас папа придёт, сядет рядом, погладит Антона по голове. Так и случилось. Папа подошёл к сундуку, сел на краешек, гладит Антона по голове: «Антон-Антон, опять с печи удрал, и что ты к этому сундуку прикипел...» Месяц ясный-ясный, такой красивый, прямо возле окошка стоит, светло в избе, всё хорошо видно. И маму видно на печи, рядом с Игорем, Катей и Машей, они посапывают сладко, уютно, а вот мама не спит, ждёт, когда папа придёт

к ней, расскажет, где был, а месяц светит и светит, видно и Божницу, и, вот, папу рядом, он смотрит на Антона, будто плакать собрался.

– Папа, а у тебя лицо грустное, – говорит Антон, обнял папу, прижался.

– Да, не очень мне весело, Антон.

4. Расправа

Потянулся в Успенье народ по селу, с иконами, крестами, хоругвями. Идут крестным ходом. Праздник из праздников. Мать Божия с нами, чувствуют это люди, молятся едиными устами. И небо под стать празднику – яркое, синее, солнце играет. Идёт впереди всех отец Олег, торжественно, строго, лицо сосредоточенное. Несёт вместе с дьяконом плащаницу Божией Матери. Знает он, что злобствует коммунистическая власть, а может, и провокацию готовит.

Ночью к великому удивлению семьи священника, тайно приходил к ним Николай Поликарпович Монастырский, известный в округе руководитель местных безбожников. Говорил шёпотом, предостерегал насчёт празднования церковного.

«Как бы убийства не вышло, вы бы остереглись, и народ поберегли!» – «Так что народ, что священник? Не нам решать. Тут уже Сама Царица Небесная хозяйствует! А пострадать за Христа и Мать Его Пречистую – это ещё заслужить надо, это удел избранных, сразу к Богу в руки».

Не понял такого ответа Николай Поликарпович.

Нет страха в душе священника. Не может он Мать Божию предать, отступить от Неё в такой день. Служит отец Олег на Успение особым чином по древнему Иерусалимскому уставу, соединяя утреннее Богослужение с чином погребения плащаницы. Идут крестным ходом непременно через всё село, для крестоходцев это скорбное и вместе с тем праздничное шествие символизирует шествие апостолов из Иерусалима в Гефсиманию. Многие сельчане обычно выходят на улицы, кто-то присоединяется к шествию, в надежде на милость Царицы Небесной. Но так было в прежние времена. С каждым годом всё меньше людей осмеливается проявлять свою богобоязненность.

Теперь больше боятся властей, а не Бога, это понимает священник, скорбит о таком богозабвении, молится о своей пастве.

«С нами Бог! Разумейте, языцы!» – сказал с амвона людям громко, оглядел всех тепло, с любовью. Воодушевился народ, те, кто побаивался, укрепился духом. «Пошли, сёстры, отцы, братья! Нам ли, христианам, бояться безбожников...» – сказал отец Олег. Хотел упомянуть про комсомольцев, про власть, да зачем праздник политикой осквернять. И двинулись вперёд так, словно на Голгофу.

Полетели в народ куски грязи, плевки, раздались насмешки. Это комсомольцы стараются. Воят, свистят, хохочут, прыгают вокруг, гримасничают. Ну, чистые бесы. Крестятся люди, не отвечают на чужую дерзость.

Вслед за красной молодёжью встретили богомольцев красноармейцы. Стоят поперёк пыльной улицы, в руках винтовки. Кто-то из них смотрит со злобой, а кто-то глаза прячет. Эх, что же вы, мужики, вместе с вами в одном селе росли, многие из вас и в церковь когда-то ходили, а теперь вместо креста святого – винтовки, вместо Бога – ненависть. Эх, мужики... Так думают крестоходцы, но не отступают.

«В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице, представилася еси к животу, Мати суца Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша!» – возвысили голос певчие, подхватили люди, покатило по улицам народное пение, полетела на небо молитва.

Падают под выстрелами люди, но шествие продолжается. Вот подошли вплотную к убийцам. Лётся кровь на землю. Не замирает молитва. Не стихают выстрелы.

Дарья родила сына ранним утром, в праздник Успения Божией Матери. Ещё петухи не пропели, а в доме Монастырских уже кричал новорождённый. Всем радостно, и Антону тоже, но и печально не меньше, ведь его не пустили в церковь на праздничную службу. Ах, как он

ждал этого дня! Как величественно толкнёт в сердце колокольный звон, запоют на клиросе, зазвонит кадиллом дьякон, уgomонится народ, тихо, храм полон людей, выйдет в красивом голубом облачении батюшка...

Но отец запер дверь, никому не разрешил выходить из дома. Знал, что в этот день готовится провокация против верующих. Должен сам был участвовать в этом деле, да воспротивился такому злодеянию. «Ах, Дарьюшка!», – плачет возле постели жены, смотрит, как Дарья кормит новорождённого. Видит Антон в щёлочку между занавесками, как текут по щёкам папки слёзы. Жалко его. Щиплет у Антона в глазах. Вот, сейчас сам заплачет. И что же это с батей, почему плачет. Слышит Антон, рассказывает папка, как убивали сегодня людей церковных, не может Антон поверить, что это правда. Не выдержал, подошёл к отцу, тронул за колено:

– Пап, а пап. Что же это, правда разве? Зачем говоришь так... Это не может быть, такое...

Они ведь молились. Зачем убивать.

– Кого убили, кого ранили.

– А отец Олег?

– Ранили его. Лежал с другими на дороге, потом ушли красноармейцы. Люди раненых унесли. Да, вот, видел и вашу Анастасию Семёновну там... На дороге. Со всеми.

Замолчал. Отвернулся Николай Поликарпович от сына. Не стал рассказывать, что убили учительницу.

– Но это ещё не конец. На завтра дан приказ рушить храм.

Утром, ещё затемно, выскользнул Антон из дома. Привязал полотенцем на тело Евангелие, подаренное владыкой Димитрием. На дороге оглянулся на чьи-то шаги – младший брат догоняет. «Я тоже хочу туда, куда и ты!» – «Нельзя!» – «Ты сам говорил, будешь брать с собой ловить раков!» – «Так я ж не за раками, Игорь. У меня дело взрослое, очень важное и секретное. Ладно, пошли, что с тобой поделывать, некогда разговаривать».

Быстро-быстро идут по тёмному селу, взявшись за руки. Антон «Господи, помилуй» шепчет. Игорь не молится, Игорь с папки пример берёт. Раз папка в Бога не верит, то, значит, и он, Игорь, будет так же делать. На небе луна яркая. Совсем Антону не страшно. Лают на мальчиков собаки из чужих дворов. Антон поторапливает Игоря. Надо успеть отца Олега предупредить. Надо спасти отца Олега. «А о чём ты хочешь предупредить? От чего спасти?» – спрашивает Игорь. Удивляется, что брат ночью к священнику путь держит. «Зачем попа спасать, Антон? Какая от него польза, только голову людям морочит, ведь Бога нет, так папка говорит».

– Что ты, Антон? – открыла дверь матушка Зинаида.

– Матушка, а как отец Олег? Что с ним?

– Лежит, поранили его сильно нехристи.

– Матушка, передайте отцу Олегу, сегодня придут сюда, чтобы...

Тяжёлая рука сзади сжала мальчику плечо, оглянулся Антон, так это же комиссар!

– Уходите, дети, скорее, – сказал комиссар.

И тут же выстрел, громкий, в ушах загудело. Вскрикнула, упала матушка Зинаида. Заструилась кровь по лицу. Заплакал Игорь, закричали в доме дети, послышался стон священника. Залаяли по селу собаки.

Кто-то засмеялся за спиной Антона. Возницкий, это он к ним в дом с обыском приходил. Направил на Антона с Игорем наган.

– Ишь, щенки. Жалость, комиссар, надо в постели с бабой оставлять... – говорит Возницкий, но – упал. Удивление на лице, глаза открыты, лежит неподвижно, не дышит. Спрятал комиссар наган, взял Игоря и Антона за руки, отвёл за угол.

– Бегите, живо!

Поднял комиссар раненую матушку, потащил в дом.

Бегут в темноте страшные люди, как много их, бегут молча, держат в руках винтовки. Плачет Игорь. Сжимает Антон кулаки, ползут по его щекам слёзы. Что же делать. Видит, вон,

комиссар не пускает красноармейцев внутрь дома, загородил дверь, но стреляют в него, убили комиссара. Ворвались в дом. Стреляют, убивают. Бегают по двору страшные люди, бьют стёкла, поджигают дом, бегут к церкви, хотят залезть на колокольню, хотят колокол сбросить, хотят крест повалить, иконы потоптать, алтарь осквернить. «Игорь, в этих кустах будешь лежать, затаись, жди меня, я скоро, и чтобы тихо!» Побежал Антон к церкви, вот сейчас он никого не пустит туда. Но кто-то лежит у порога церкви, споткнулся Антон о лежащего человека. А тот вцепился в мальчика, не пускает, закрывает ему ладонью рот, что-то говорит. Так это же Слепец! Дед Игнатий!

Вой людской уходил за поля и леса, до самого неба летели тучи чёрного дыма. Громы хали, стреляли, жгли. Выгорела большая часть домов.

Спали Антон и Игорь дома у Слепца, дал старик мальчикам чай из сонной травы, а когда те проснулись, то узнали, что теперь они сироты. Никого злодеи не пощадили в доме Монастырских, ни детей, ни отца с матерью. Отца убили как врага Советской власти, за то, что отказался расстреливать богомольцев. Дарью Андреевну с детьми убили за сговор с верующими, а верующие – они и есть первые враги Советской власти. Ведь Бог для них важнее товарища Сталина и Советской Родины.

«Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Моё; претерпевший же до конца спасется», – Антон читает вслух по просьбе деда Игнатия Евангелие.

5. Путники

Ночью кто-то поскрёбся в дверь. Открыл дед Игнатий. Просит в дом пустить десятилетняя Ирина Мальцова, дочь расстрелянного баяниста.

– Что ты, Ирина, откуда взялась? Ты замёрзла, пошли чай горячий из трав пить.

– Дедушка Игнатий, мою мамочку и братика убили. Мне идти некуда. Ты добрый, мне про тебя мама рассказывала. Возьми меня к себе.

– Ишь. Ну прямо сказка тут у меня про козлят, осталось волка дожидаться.

– Я, дедушка, в лес ходила по ягоды. Услышала выстрелы, и побежала к дому. Но из кустов вижу: наш дом окружили дядьки, а дом горит. Мама с братом во дворе лежат на земле. Я их видела. В пожаре всё потом сгорело. И они тоже чёрные, там лежат.

Собрался Слепец уходить далеко-далеко.

– Буду по свету белому бродить, Богу молиться, – сказал детям.

– А мы?

– А куда я без вас, со мной пойдёте, но лишь до Знаменки. К вашим бабушке с дедушкой заглянем. Там и оставлю вас. Вам учиться надо бы. Да на печке сидеть, молоко пить. А сам дальше пойду. По монастырям, по церквям, по лесам и равнинам. Широка Русь-матушка, не даст погибнуть.

– И я хочу, – сказал Антон.

– И я, – сказала Ирина.

– А я не хочу, – сказал Игорь.

– Знаю ваши настроения, ребятки, знаю. Но пусть будет всё так, как будет.

Вместо Знаменки встретили путников сожжённые избы. Пришлось идти до следующего села, до Краснофлотского. Бабы там рассказали, что знаменский народ против колхоза восстал. Не захотели своих коров и зерно отдавать, да и поубивали ночью местных коммунистов. А после этого в Знаменку солдат нагнали, собрали всех, и старых, и молодых, кого расстреляли на месте за сопротивление, а кого угнали неизвестно куда.

Догнал путников в дороге Бояринов. Лицом серый, глаза потухшие, в бороде мусор. Бормочет, бегаёт глазами по лицам детей, задерживает взгляд на старике. Смотрит умоляюще, трясёт руку старцу, гладит его по плечу заискивающе.

– Кто-то записки подбрасывает, убить меня грозятся. Может, без меня моей семье спокойнее там будет. Нашёл им после пожара другое жильё, а сам вот, куда глаза глядят... А тебя, Игнатий, я искал. Видел, как ты уходил с детьми. Приметил, шёл, можно сказать, след в след. По пути встречных о вас спрашивал, а вас везде люди позапоминали, удивлялись, что такие дети малые по лесам-дорогам бродят, указывали, куда ушли. Я вам хочу отдать вот что...

Снял Бояринов с плеча холщовый мешок, тяжёлый с виду, пухлый. Наверное, в нём головы отрезанные лежат, подумал Антон и зажмурился.

– Золотые монеты здесь, дед, настоящие царские червонцы, есть и новые, серебряные рубли, тут немало, возьми, распорядись как хочешь. Помолись за меня, дед. А я дальше пойду. Мне надо быстро идти. Чую – смерть по пятам...

Но не успел уйти Бояринов далеко.

Нашли его тело путники. Помолился Слепец, похоронил в овражке.

– Дед, а дед. А почему Сталин в Бога не верит? – спрашивает Антон у Слепца, когда они, попрощавшись с добрыми хозяевами и напутствуемые домашней краюхой хлеба, покинули очередную деревеньку. Идут по лесным тропкам, прячутся в деревьях и кустах, в траве густой от случайных путников, от ненужных глаз, от непрошенной опасности.

– А я Сталина люблю, он отец нам всем, он лучше всех, он друг детей, вот так! – перебивает Игорь и показывает брату язык.

– Отец нам всем, Игорь, это Бог, – строго говорит Антон.

– Сталин – враг Бога, я Сталина не люблю, – говорит Ирина.

– Вы, дети, ничего не знаете, – говорит Слепец.

Они идут медленно, не спеша. Поют птицы, солнышко пригревает сквозь листву.

Дед Игнатий продолжает:

– И я тоже, дети, ничего не знаю. Верит или не верит Сталин в Бога – не нашего ума дело. И смотреть надо не на чужие, а на свои грехи.

– Конечно, Сталин в Бога не верит, – убеждённо продолжает Антон. – Если бы он в Бога верил, то обязательно защитил бы нашу церковь, и не было бы столько горя для церквей и священников. Но мне вот что непонятно. Почему он так делает? Ведь он сам учился в духовной семинарии, мне мама об этом говорила. Священником собирался быть. А потом в революцию ударился. А, дедушка Игнатий, ну почему?

– Почему-почему. Потому что буква «у».

– А я, дедушка Игнатий, Сталину письмо напишу.

– Ну и зачем?

– Как зачем. Чтобы правды добиться.

– И что ты ему напишешь?

– А то. Что несправедливо всё это. Вот наша семья. Всех поубивали. За что?! За то, что в Бога верим! Как так можно?!

– Э, малыш. Разве можно на этой земле найти справедливость? Тут место скорбей и плача. Тут владения князя тьмы. А нам, христианам, терпеть надо, смиряться, и Бога не предавать. А воздаяние не здесь, а там, на небе, надо ждать. Сейчас, Антон, наш народ испытывает на себе гнев Божий за те грехи, за безбожие, в которые впал в последние времена. Отступил наш народ от Бога, забыл Его. Божьего Помазанника, нашего Царя-батюшку предал. Вот и попустил Господь испытание. Нынешняя коммунистическая власть – это не что иное, как бич Божий для народа-грешника. Вот в Библии в Ветхом Завете на каждом шагу читаем про гнев Божий, как наказывал наш Творец свой богоизбранный народ за постоянные предательства и отступления от воли Божией, в ту пору люди впадали в идолопоклонство, в язычество, и были за это наказываемы страшными бедствиями. Вот и на Руси нечто подобное произошло. Но за то, что новая власть гонения на церковь и служителей Божиих устроила, и народ массово стал в атеисты записываться, вот за это ещё больший гнев Божий уже разгорается. И пройдёт ещё несколько лет, и вот увидите, что будет.

– А что будет?! – в голос спросили дети.

– Война будет.

– Ух ты! – восхищённо воскликнул Игорь. – А скоро? Я пойду на войну товарища Сталина защищать!

– А потом? – спрашивает Ира.

– А потом будет победа за нами.

– А потом?! Что будет с коммунистами? Неужели Господь их тоже пожалеет? – спрашивает Антон. Больше всего ему хочется, чтобы покарал Бог коммунистов.

– А что потом. Не простоит эта власть, замешанная на крови и безбожии, и ста лет. Вам дано ещё увидеть её падение. Но то будет нескоро.

– Тогда нам нужно к Сталину идти, – убеждённо сказал Антон.

– Это ещё почему? – говорит дед Игнатий.

– Он же погибает. Его душа в аду будет гореть. Он ослеп. А разве может вождь народов быть слепым. Тогда и сам в яму упадёт, и народ за собой потащит.

– Какую яму? – спрашивает Ирина.

Она с удивлением смотрит на Антона.

Антон сердится, ну почему они не могут понять очевидное.

– Ира, ты что, Евангелие не читала? Это же всё из Евангелия. Христос будто о Сталине сказал. Слепые вожди слепых.

– Если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму. Евангелие от Матфея, – сказал дед Игнатий.

– Да, да, – сказал Антон. – Нам нужно срочно идти к Сталину. Из-за него может весь народ погибнуть. У Сталина никого нет рядом, кто мог бы рассказать ему правду.

– Какую правду? – Ира опять удивляется.

Идти к Сталину. Да где такое видано, это глупо, это немыслимо, думает девочка.

– Правда, Ира, может быть одна. Так же как и Бог. Не может человек служить сразу двум господам. А Сталин заблудился. И если ему никто не откроет глаза, то он и свою душу загубит, и миллионы других.

– Дело не в Сталине, – сказал дед Игнатий. – А в идеологии. И если даже ты убедишь Сталина в чём-то, от этого в стране мало что изменится. Потому что сама по себе идеология этой власти – богоборческая. И этим всё сказано. Тем не менее, Антон, в твоих словах есть здравый смысл. И твоя идея мне по душе. Поэтому поддерживаю. И предлагаю держать путь на Киев.

– На Киев?! – в голос сказали дети.

– Да.

– Но ведь Сталин в Москве! – сказал Игорь.

– К Сталину, ребята, нам, простым смертным, просто так не попасть. Но я знаю человека, который сможет организовать нам встречу со Сталиным. И находится этот человек в Киеве. Когда-то, очень давно, он был наставником у сына грузинского сапожника, там, в Тифлисской семинарии. Джугашвили тогда называли Сосо. Но чтобы попасть в Киев, нужно нам пройти мытарства. И вот пройти эти мытарства нам поможет один интересный товарищ. К нему и пойдём.

– А как зовут того, кто учил Сталина? – спросил Антон.

– А зовут его владыка Антоний. Как тебя. Но раньше, до принятия схимы, имя его было Димитрий. И был он архиепископом Таврическим. В Крыму. Может, Антон, твоя мама его видела, когда вы в Крыму жили.

– Владыка Димитрий! Так он мой крестный отец! – закричал Антон. – Конечно, мама его видела, и я его видел, он мне Евангелие подарил. Вот же оно!

– О, дивны дела Твои, Господи, – дед Игнатий перекрестился.

– Я когда родился, то мама думала, что священник при крещении даст мне имя Илья, потому что я родился в день памяти Ильи Муромца. Но владыка Димитрий велел назвать меня Антонием. Мама удивлялась и говорила, что, может быть, в этом скрывается тайна и со временем она откроется.

– Так вот и открылась, – сказал дед Игнатий. – Это он тебе весточку из будущего передал. Чаю, будет с ним встреча.

Антон молчит, он потрясён. Сердце его переполнено радостью.

– Дедушка Игнатий, а про владыку и Сталина ещё расскажите, – просит Ира.

– Я не так и много знаю. Сказать могу то, что в народе слышно. Владыка Антоний из старинного княжеского рода Абашидзе. Человек бесстрашный. Мужественный. Незадолго до революции встречался с самим царём Николаем – в Ливадии. А когда в Крыму после революции началась смута, он, как правящий архиерей, объявил на полуострове дни всенародного покаяния. И тогда же обратился к народу. Это послание произвело на очень многих огромное впечатление, его переписывали от руки, передавали друг другу. Вот, мне одна старая монахиня дала как святыню. Сейчас...

– Дед, а дед, – Антон трогает старика за рукав. – А ведь ты не простой. Ты грамотный. Речь у тебя такая, как в книге. Ты что, специально прикидываешься таким вот простым, это для смирения, да? Ты, значит, юродствуешь вот так. Да, дедушка Игнатий? Ты, наверное, тоже из знатного рода, как и Абашидзе?

Старик улыбнулся:

– Как любила говорить моя покойная бабушка: всё может быть. Может, и гложет, а может, и поможет. Бывает, с коня сигают, а бывает, и на коне летают.

– А слепым тебя, дед Игнатий, почему называют? Ведь я замечаю, ты не совсем слепой. Что-то же видишь.

– А со слепого спроси меньше, Антон. А тем более, когда лютуют вокруг звери красные...

Он открыл псалтирь, достал заложенный внутри пожелтевший лист, протянул Антону:

– Ну-ка, читай...

– «Многими тяжкими грехами осквернился народ наш в недобрые годы мятежного лихолетия и смуты: бунт и измена, пролитие крови и братоубийство, безбожие и осатанение, богохульство и кощунство, разбой и лихоимство, зависть и хищение, блуд и растление, празднотлюбие и празднословие. Осмердела земля наша, зачумлён воздух, омрачается свет солнечный гноем ран души нашей. Не по слабости только, но и по губельному обольщению согрешил пред Богом народ наш, ибо открыл уши свои ложным и тлетворным учениям сынов тьмы, отвернулся от Бога и поклонился идолам... Люди русские, православные! Явите силу покаяния, возвеличьте Святую Русь делом, словом и мыслью, отвергните соблазны антихристовы...»

– Странно, что за это его не расстреляли, ему просто повезло, – сказал Игорь.

– Это, Игорь, называется по-другому. Это милость Божья, хранил Господь милосердный владыку. И по сей день хранит. И происходит это, как в народе говорят, не без участия самого Сталина. Сказывают, не один раз обращался бывший учитель к своему ученику, и письма ему писал. И вождь не отказывал. Даже если просил священников освободить, тоже помогал. Не раз арестовывали архиепископа, но вмешивался Сталин, запрещал трогать своего учителя. Вот такие дивные дела. Поэтому и направим стопы в Киев.

6. Товарищ секретарь

– Товарищ секретарь. К вам просятся на приём странные люди.

– И в чём их странность? Надо выяснить, кто они, откуда, а потом ко мне с докладами входить.

– Трое из них дети, а старик без документов. Говорят, из Красного Восхода, который сожгли.

– Из Красного Восхода?

Секретарь обкома, Пономарёв Валерий Витальевич, поднялся и взглянул на вошедшую. Женщина стояла навтыжку, и было заметно, как испарина проступила на её лбу. Пономарёв понимал, что она испугалась – «а вдруг сделала-сказала что-то не так». Работать в обкоме партии – дело ответственное. За каждое неправильное слово можно быть строго наказанным или даже под статью угодить. Но сейчас Валерий Витальевич сам не знал, что делать или что говорить. Про сёла Красный Восход и Знаменку в области знали все. Но вслух не говорили о судьбе пропавших, убитых и сожжённых. Потому что их как бы теперь больше и не было. На месте страшных селений соорудили водохранилище, привезли для этого угрюмых людей в тюремных робах, а когда работы были закончены, трудников-арестантов расстреляли.

– Ты вот что, Надежда... А...

Он замолчал и вопросительно взглянул на секретаря. Она отвела взгляд.

Он хмыкнул в усы, и поймал себя на том, что подражает товарищу Сталину. Взглянул на портрет вождя на стене, расправил плечи. Вспомнил, что его делегировали в Москву на 17 съезд ВКП(б). Это была, конечно, честь. Но ходили смутные слухи вокруг предстоящего съезда, и что-то тревожное было во всей этой атмосфере, это чувствовал секретарь обкома. В политической жизни он был опытен и имел, как он думал о себе, чутьё. И вот теперь это чутьё не давало ему ощущения спокойствия от предстоящей поездки в Москву.

Он ещё раз хмыкнул:

– Значит, так, а пусть эти странные люди зайдут. А ты, Надежда, проверь ещё раз, все ли бумаги на мою командировку готовы. Ну, веди гостей.

– Гражданин начальник, помогите нам с документами, нам нужно попасть в Киев, по очень важному делу. Там у нас есть близкий человек.

– А что там у вас за человек в Киеве? – Валерий Витальевич с интересом разглядывал старика в лаптях, с котомкой.

Старик молчал.

– Ну? Что же ты молчишь, дед? Слушай, а у тебя в роду бурлаков не было случайно? Это не с твоего бати Репин бурлаков писал?

– У меня, гражданин начальник, в роду крестьяне, а в знакомых – монахи. И среди монахов есть такие, которые к самому царю вхожи.

– Чего-чего? Что плетёшь-то? Царя твоего давно расстреляли.

– Того – расстреляли. А новый царь жив. А то, что он царь, он сам так себя и называет. Об этом у его матери Екатерины можете спросить. Мать его спрашивает: «Как же тебя, сынок, величать теперь?» А он ей: «Царь я – всея Руси». А мать плачет: «О, сын мой, лучше бы ты священником стал». А говорит она так потому, что учился её сын в Тифлисской духовной семинарии. И мечтала она видеть в своём сыне служителя церкви. Да сын пошёл другой дорогой. Это о нём Ленин сказал: «Верной дорогой идёшь, товарищ!» Но хоть и направил стопы свои на иную стезю, а семинарию и учителя своего духовного до сих пор помнит. Вот к этому учителю-монаху нам и нужно попасть.

– О. Вон ты о чём.

Валерий Витальевич молча ходил по кабинету.

– А как звать твоего монаха? – сказал он и подумал, что уже знает, чьё имя сейчас услышит.

– Архиепископ Антоний, в мантии Димитрий, из княжеского рода Абашидзе.

Валерий Витальевич качнул головой, не удивился. Ну вот. Так он и знал.

– А ты знаешь, дед, повезло тебе. Потому что я уже много лет сам хочу увидеть этого монаха. И поклониться ему в ноги. Спас он моего отца. Отец мой служил на линкоре «Святой Пантелеимон», и вот... Однажды прибыл к ним простым корабельным священником этот самый, о котором ты сейчас говорил, архиепископ Димитрий. По собственному желанию он ушёл временно со своей высокой церковной работы, чтобы послужить Черноморскому флоту – на пользу Отечеству. Да-а... Было дело. Много мне батя про него рассказывал. Говорил, что это человек высокого духа. И он участвовал во всех походах флота. Пользовался среди матросов и офицеров огромным уважением. После прихода в Крым Красной Армии власть приговорила к расстрелу и Абашидзе, и других с этого броненосца, всех, кто не сумел или не захотел покинуть Крым. Должны были расстрелять и моего отца. Но произошло чудо. Сначала – с Абашидзе. Ему, как рассказывают в народе, жизнь сохранил сам Сталин. Отпустили в итоге Абашидзе! А потом случилось уже чудо и для других людей с этого броненосца. Остался жив мой отец, остались живы и те, кого вместе с ним и с Абашидзе намеревались расстрелять. Говорят, архиепископ за них просил своего ученика Джугашвили. В нашей семье почитают Абашидзе.

Он помолчал, раздумывая. Сказал после паузы:

– И теперь, как я понимаю, мне судьба даёт возможность его увидеть... Я помогу вам его увидеть. Вместе и двинемся в путь.

– Так я поэтому к тебе, начальник, и пришёл. Я знал твою историю. Монахиня мне одна рассказывала, что есть такой секретарь партии, отца которого Сталин помиловал по просьбе владыки Димитрия. Вот я и подумал, что ты хранишь в сердце добрую память об этом человеке. И не откажешь в помощи.

– Так и ты, учти, дед, за меня слово замолвишь, чтобы пустили меня к монаху, не посмотрели на мою партийность.

7. Товарищ Сталин

– Товарищ Сталин. Всё подготовлено. Вот документы.

Сталин мельком взглянул на аккуратно разложенные бумаги, хмыкнул. Медленно прошёлся по кабинету, подошёл к окну. Вид открывался величественный. Больше всего Сталин любил смотреть не вниз, не туда, где можно было увидеть здания, людей, землю, а вверх, где сияло на синем небосклоне солнце, или просто слепил белый свет. Вот как сейчас. Сталин курил трубку и думал.

Он думал о том, что хочет обратно в юность, в духовную семинарию, которую когда-то так ненавидел за её железные порядки и палочную дисциплину, а теперь вспоминает без неприязни и почти с ностальгией.

Он думал о Боге. Да, не исключено, в иных мирах и высотах Кто-то есть. (Не зря всю жизнь мать об этом твердила. Мечтала видеть сына епископом. Расстраивалась, что сын не пошёл по церковной стезе.) И этот Кто-то всё видит и слышит. Но об этом, однако, то и дело забывалось. Или Бог прятался от вождя, или сам Сталин прятался, как когда-то в детстве. «Выходи, выходи, я тебя вижу. – А я тебя не вижу!» Так кричали друг другу дети. И так теперь Сталин кричит Богу в снах. Он, маленький мальчик, бегаёт с завязанными глазами по закрытому серому двору между высокими глухими стенами и кричит невидимому Богу: «А я Тебя не вижу!» И слышит в ответ: «А Я тебя вижу». И тогда ребёнок поднимает, наконец, голову, и видит синее небо. И на этом сон обрывался. Чтобы через месяц-два присниться вновь. И вот, это небо, именно небо, оно больше всего напоминало Сталину о Боге.

О том, что Бог есть, маленький Иосиф впервые задумался в раннем детстве, когда оказался при смерти в один из страшных дней очередного буйства пьяного отца. Иосиф помнит, как ввалился отец, зверь-зверем, в дом. Как кричала мать, когда отец бил её. Не пожалел и сына, кинувшегося под ноги зверю. Сын хотел защитить маму. На голову мальчика обрушились удары, он потерял сознание. Никто не надеялся, что после тяжёлой травмы головы ребёнок останется жить. «Если и выживет, то дурачком будет», – шептались соседки. Но набожная мать Иосифа горячо молилась у постели сына, и однажды упоминаемый в её молитвах Христос пришёл к умирающему ребёнку: «Живи, малыш. Но помни, не то важно, сколько лет проживёт человек на земле, а важно иное...» – «А что же важно?» – подумал мальчик.

На этот вопрос получил он ответ уже наяву, от матери: «Жизнь дана для того, чтобы подготовить душу к встрече с Богом».

Он всё стоял у окна и курил. За спиной было тихо.

– А что у нас там со священниками делается?

– Всё в порядке, товарищ Сталин. Уничтожено уже очень много.

– Да?

Он повернулся и взглянул на секретаря.

– А зачем?

– Э...

– Ну-ну. Говори.

– Согласно приказу, товарищ Сталин.

– Но зачем?

– Э...

– То-то. Ладно, не дрейфь. Не расстреляю. Хе.

– Спасибо, товарищ Сталин.

– Ты вот что. Попа хотелось бы услышать. Ну, ты понял, о ком я говорю?

Секретарь молчал. Этого покладистого и простоватого с виду мужика Сталин знал много лет и доверял ему. Верность он ценил. А этот со времён учёбы в духовной семинарии доказал Сталину свою преданность. Сталин помнил, как тот в годы юношеской дружбы говорил ему: «С тобой в огонь и в воду. Ты великий человек, я верю в тебя». «А в кого ты больше веришь, – смеялся Сосо, – в Бога или в меня, твоего товарища?» – «Конечно, в тебя!» – «О. За такой ответ я тебя обязательно возвеличу. Не завтра, конечно. Но придёт, вот увидишь, придёт мой час, когда я стану на очень долго в этой стране тем человеком, от шевеления мизинца которого будет зависеть жизнь каждого живого существа. Веришь?» – «Конечно. Ты – бог! Ты всё можешь!» – «Да. Ты первый, кто это понял, ты увидел во мне того, кто я есть. Я умею ценить преданность. И тебя – не забуду». И будущий вождь засмеялся. И товарищ его тогда так и не уразумел, всерьёз Сосо говорил, или в шутку...

– Итак, – повторил Сталин. – Так что же ты понял, о каком таком попе речь?

– Думаю, что...

– Нет. Меня не интересует, что ты думаешь. Мне нужно знать, понял ты или нет. Ну-ка...

Впрочем, ладно. Организуешь, встречу. Смотри, чтобы никто не пронюхал.

Сталин знал, что его любимца секретаря за глаза именуют Ваней вместо Иванов. Да и сам вождь так мог обратиться к подчинённому. Ваню в свите Сталина побаивались. Ваня был к Сталину ближе, чем даже начальник охраны Карл Паукер. И это вождя устраивало. Зайти в кабинет к Сталину в обход Вани было невозможно. Многие распоряжения Сталин любил отдавать подчинённым именно через своего бывшего сокурсника по семинарии, а теперь его личного секретаря Иванова Егора Павловича.

То, что нынешний секретарь когда-то был лучшим другом юности и сокурсником вождя, не афишировалось. Имя, фамилию, отчество своему другу Сталин сам придумал, документы – тоже. Ваня отличался молчаливостью и преданностью вождю, его называли тенью Сталина. Семьи у Вани, как и тайных романтических связей, не было. Так ему велела совесть, ну, а совестью заведовал личный бог – Сталин.

Ване разрешено было не так и мало – работа на бога-вождя и, помимо сна и пищи, возможность отдохнуть в загородном доме и ездить в гости. Жил обычно Ваня в одной из комнат Кремля, расположенных недалеко от кабинета Сталина и был под рукой у вождя. Право на поездки в гости к друзьям он не использовал, но мог позволить себе раз в год путешествие. Путешествие это было особой тайной не только Вани, но и Сталина. Ездили они вдвоём или к матери Сталина, или к их общему наставнику по духовной семинарии. Поездки было приказано сохранять в строгой тайне. Особенно от прессы. «Пресса – это путь в историю. А историю нужно строго дозировать», – говорил Сталин.

– А по съезду, кстати, вот что. Хочу, чтобы дети там были.

– Э...

– Знаешь, никто, наверное, не способен меня порою так растрогать, как ты. И как ты думаешь, почему?

– Не знаю, товарищ Сталин.

– Да глупость в твоих глазах, дружище, такая, знаешь ли, непроходимая русская глупость. Мужик русский, он ведь часто глуп. Вот как ты, глуп. Но русский мужик зато хитёр, а ты, к счастью, нет. Скорее бесхитроsten. За это и ценю, можно сказать. Признайся, ну что ты подумал, когда я про детей сказал. Только честно.

– Не знаю, товарищ Сталин.

Сталин засмеялся.

– Ну, брат... А я тебе сам скажу, что ты подумал. А подумал ты, что товарищ Сталин решил на съезд созвать детей вместо взрослых. Потому что товарищу Сталину всё возможно. Даже самая нелепая идея может быть осуществлена, если она от товарища Сталина. А? Жду реакцию.

– Простите, товарищ Сталин. Как скажете, так и будет, товарищ Сталин.

– Ладно, к делу. Надо этот съезд разбавить детскими выступлениями. Песни, стихи о Родине. Понял? Всё же это не простой съезд, а это съезд победителей. Строители социализма, революционеры, подпольщики, храбрые солдаты гражданской войны. Их надо угостить светлым, добрым, тем, что называется детство, радость, счастье. Всё это будет в глазах искренних, радостных октябрат, пионеров и комсомольцев. В них – наше будущее. Они на съезде и будут символизировать это будущее. Повторяю, именно в детях – наше будущее. Дети – как предвестники обновления. Обновление, обновленцы, вот что нужно всем нам и в партии, и во всей стране. Вот как, если ты ещё не забыл, в церкви пытались обновленцы живую струю впустить, вот так и нам надо. Но если в церкви дело это заглохло, то у нас всё впереди. И пусть именно дети станут прообразом этого всеобщего грядущего обновления. Мы засиделись в старом, мы обросли хламом. И делегаты должны уйти со съезда в уверенности, что у этих ребятшек, так счастливо певших на съезде свои счастливые песни, будет не менее счастливое будущее. И это должно всех обнадеживать. Вот так... – Сталин помолчал. – А ещё хорошо бы какую-нибудь изюминку придумать... Чего молчишь? Жду вопроса.

– Какую изюминку, товарищ Сталин?

– Молодец, этот вопрос я и ждал. Что-нибудь неординарное. Чтобы растрогало. Удивило. Расположило. Но обязательно – из ряда вон. Крайне неожиданно, крайне удивительно. Нестандартно. Понял? Успех мероприятия обеспечен при наличии в нём изюминки.

– Понял, товарищ Сталин. Но...

– Никаких «но». Иди, подумай, а потом мне доложишь. Если что дельное надумаешь, то сделаем твою изюминку прелюдией, поставим в самом начале, а детей уже вторым эшелонем. Мда, «эшелонем»... Да не перепутай. Сначала – встреча с попом, потом уже дела партийные. В таком вот порядке.

8. Встреча со Сталиным

У владыки Антония день выдался непростой. Приехали гости.

Встреча получилась тёплой и дружественной. Владыка был растроган. Давно он вот так не вспоминал молодость в дружеском кругу за горячим чаем. Антон сидел рядом с крёстным и смотрел на Сталина. Вождь улыбался хитро, как казалось мальчику. Когда Сталин погладил Антона по голове, тот замер и перестал дышать. Ему стало страшно, но лишь на секунду, в отличие от секретаря обкома: Пономарёв Валерий Витальевич был так ошеломлён и напуган этой встречей со Сталиным, что не мог говорить. «Расстреляют меня, как пить дать, расстреляют», – только об этом и думал он. А когда Сталин спросил его имя, Пономарёв ощутил сердцебиение. «Или я сейчас умру, или чуть позже, но уже не своей смертью», – думал он. «Всё. Конец мне, как нежелательному свидетелю. И дёрнул меня чёрт сюда поехать», – он корил себя за малодушие, страх не исчезал.

– Пономарёв Валерий Витальевич? – повторил как-то нараспев Сталин. – Ну-ну. А что же ты, товарищ, по монахам ездешь? В Бога веруешь?

Владыка Антоний улыбнулся, взглянув на бледного Валерия Витальевича. Он понял мысли и чувства этого несчастного человека и жестом показал, чтобы тот ничего не говорил. Он сам рассказал Сталину то, что час назад секретарь обкома излагал ему в отношении своего отца.

– Поблагодарить он приехал. Хотел через меня передать вам, товарищ Сталин, горячие слова благодарности за то, что вы своим личным участием способствовали сохранению жизни его отца – матроса с броненосца «Святой Пантелеимон». Приговорён был вскоре после революции к расстрелу на территории Крымского полуострова.

– Ну что же. Благодарное сердце – это хорошее качество. За твою сердечную благодарность, товарищ Пономарёв, я тебя запомню. Но только вот что же ты благодарить приехал аж спустя много лет? Или лучше поздно, чем никогда? Да что же ты такой бледный. Ну? Того гляди, в обморок шлёпнешься, как барышня.

У Валерия Павловича тряслись руки, его бил озноб. Он хотел сказать что-то обычное в таких случаях, партийное, вежливое, открыл рот, и вдруг, неожиданно для себя, забормотал, как он потом рассказывал жене, «несуветные глупости»:

– Не велите казнить... велите миловать.

Он похолодел от ужаса. «Вот каким может быть человек в минуты трусости! Вот что бывает в минуты страха! А что же тогда говорить, если пытаться начнут», – замелькали мысли в голове Валерия Павловича. Ноги его подломились, и он повалился на колени, лбом в пол. И застыл, не помня себя.

Сталин коротко засмеялся. Похлопал коммуниста по спине.

– Да ты забыл ещё назвать меня «царём-батюшкой».

Сталин перевёл взгляд на деда Игнатия, оглядел детей. Спросил у владыки:

– Ну, хорошо. А эти люди – кто такие?

– Этот, – отец Антоний кивнул на деда Игнатия, – мой давний друг, когда-то вместе проходили послушания в Лавре. Монах. Но вынужден скрывать свой монашеский чин. Время такое.

– Я ценю твою откровенность, владыка. Ты всегда меня этим радовал. Говоришь без оглядки на время и на авторитеты. В тебе сказывается отважный грузинский дух, вижу в тебе и благородство княжеского рода. А дети?

– Вот этот мальчик – мой крестник, зовут его Антон, с ним его брат Игорь, когда-то общались тесно с его семьёй в Крыму, в Топловском монастыре под Феодосией. А когда власть

приказала мне покинуть полуостров, взял их с собой, голод тогда был в Крыму. Девочку зовут Ира, односельчанка.

Сталин задумался, разглядывая детей, остановил взгляд на Антоне. И вдруг спросил:

– Антон, а ты стихи умеешь читать?

– Умею, – сказал Антон.

– А ну-ка... Прочти из твоих любимых что-нибудь.

– А можно, я спою?

– Конечно.

Антон вышел из-за стола. Голос у Антона звонкий, поёт он красиво. К ним в дом соседи приходили слушать, как Антон петь умеет. От промелькнувшего воспоминания в глазах Антона стало горячо, влажно, сердце стукнуло под горло

Над полем птица вьётся низко,
в очах её – печаль и боль.
И к горлу слёзы – близко-близко,
меня ты, смертушка, не тронь.
Меня ты, бледная, не мучай,
я молод, свеж, я жить хочу,
но в поле ветер жарче, круче,
то пули жгут в глазах слезу.
Вставайте, молодцы лихие,
молитесь Богу, час настал,
сегодня мы идём в дорогу,
на смертный бой нас Бог призвал.
Мы будем биться за Отчизну,
За веру в Бога, за царя,
И станет тихо в поле чистом,
В земле сырой спят сыновья.

Сталин поднялся, подошёл к Антону, положил ему на плечо руку.

– Сынок. Кто тебя научил такой песне?

– Моя мама.

– А маму твою кто научил такой песне?

– А она сама. У меня мама очень любила сама песни придумывать. И петь их любила.

Она по ночам, когда все уснут, сочиняла. Молилась много, и песни сочиняла.

– А где же твоя мама, сынок?

– Убили её.

– Кто?

– Коммунисты.

– За что?

– За то, что в Бога верила.

– У нас всех убили – и папку, и брата новорождённого, и сестёр! И всё – из-за Бога! – сказал из-за стола Игорь и замолчал.

Испугался. Подумал, что напрасно заговорил без разрешения.

Сталин ходил по келье, молчал. Взглянул на Антона:

– У нас скоро будет большой съезд. Споёшь перед съездом эту песню?

– Спою.

– Вот и хорошо. Молодец, Антон.

– У неё, – Антон показал на Иру, – коммунисты тоже всех расстреляли. Она, как и мы с Игорем, сиротой осталась.

– Вот что, дети. Заберу вас с собой в Москву. Будете ходить в школу, получите образование, помогу вам и с жильём... А ты, монах странствующий, может, тоже в Москву хочешь?

– Спаси вас Бог, товарищ Сталин. Я с вашего позволения здесь останусь. Буду возле владыки Антония век доживать да Богу молиться.

– А ты, товарищ Пономарёв, что пожелаешь?

Пономарёв вскочил из-за стола, отодвинул кружку с чаем, пригладил вспотевшей рукой волосы. Одёрнул френч. Он любил этот френч, и всегда в нём ходил. В этом френче он напоминал себе Сталина. Он суеверно думал, что одежда «как у вождя» несёт удачу. Он уже оправился от испуга и мог говорить обычным голосом:

– Желания партии – вот это и есть моя жизнь!

– Ну-ну. И какие у тебя партийные планы на ближайшее время?

– Я избран делегатом семнадцатого съезда.

– А, вот как. А семья у тебя есть?

– Так точно.

– И дети есть?

– Есть. Школу скоро закончат. Сын и дочь.

– Ну, так я тебе другое дам задание.

– Слушаюсь, товарищ Сталин!

– Поедешь делегатом не в Москву на съезд, а ... – Сталин взглянул на Антона, тот посмотрел в глаза вождю. Сталин ему подмигнул и продолжил, – ... а делегирую тебя с семьёй в санаторий. На Чёрное море. Куда хочешь, выбирай – Сочи, Крым...

– Крым, товарищ Сталин!

– Ваня, запиши координаты товарища Пономарёва. По возвращении в Москву организуешь для семьи Пономарёвых отдых в Крыму, в лучшем санатории. А тебе, товарищ Пономарёв, уже в ближайшие дни позвонят, скажут, что и как. Дорогу и отдых оплатит партия.

– Спасибо, товарищ Сталин!

– А сейчас оставьте нас с владыкой наедине на полчаса.

Полчаса затянулись на два часа. Сталин любил эти беседы с духоносным старцем, ждал их, как он сам для себя говорил, будто манна небесной. После исповеди душа его оттаивала, и на сердце приходил мир. Он слушал старца, тот говорил о Царстве Божиим, а Сталин думал о неизбежности смерти. О том, что придётся держать ответ перед Господом. Сталин с детства знал от матери об этом, материнские наставления остались в глубине его сердца. В обществе владыки Антония Сталин вспоминал и свою мать. «После съезда поеду в Тбилиси. Обрадуются», – подумал о предстоящей встрече с больной матерью.

– Дорогой Иосиф, хотел бы сказать тебе вот что. Надо срочно прекратить эти страшные гонения на церковь. Надо открыть храмы. Выпустить священство из тюрем, вернуть из ссылок.

– Ох, владыка, не так всё просто. Ты каждую встречу мне говоришь об этом.

– Но, вижу, всё без толку. В стране происходят чудовищные вещи. Уничтожаются невинные граждане. Уничтожается цвет нашего общества, лучшие люди.

– Я тебе могу сказать пока вот что. Не сейчас, не завтра, но скоро, думаю, всё же мне удастся достичь перелома в этом вопросе. И так уже за эти годы кое-что сделано. Смогли пресечь в стране вакханалию с развратом и парадами голых, ввели уголовную ответственность за гомосексуализм. Да. Это, конечно, крайне мало. Не спорю. Но пойми, не так всё просто. Точечно, в отдельных случаях, могу помочь. Но сломать всю систему, которая не на одном моём мизинце держится, сам понимаешь, это дело не сиюминутное. Против нашей страны идёт диверсия. И началась она ещё до отречения царя Николая. С того времени, когда Ленин согласился стать агентом Германии. Эта диверсионная подрывная работа происходит повсюду. В

том числе и в церкви. Мне некому доверять. Я окружён врагами. Но есть, к счастью, рядом со мной и патриоты России, как граф Игнатъев Алексей Алексеевич. Слышал, наверное, о нём. Это один из главных моих тайных советников. Вот истинный сын Отечества. Кстати, в своё время это он через свою агентурную сеть в Европе получил сведения о вербовке Германией Ленина, и именно от графа Игнатъева об этом узнал Николай Второй. Ну, это к слову. И, конечно, здорово выручает меня собственная личная разведка. Поверь, если я попытаюсь изменить всё одним махом, то как-нибудь однажды усну и не проснусь. Понимаешь? Только какие-то глобальные, страшные потрясения в стране смогут переломить ситуацию в церковном вопросе, когда для всех станет очевидно, что так продолжаться не может. Но лучше бы этих потрясений не было. И тем не менее, это, к сожалению, так. Как у нас говорят, мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Наш народ спит. Ты же сам видишь. Люди в основной своей массе даже от Бога согласились отказаться, лишь бы их никто не трогал. Вот тебе и христианское государство, каким оно себя называло. Вот где причина того, почему смогли большевики сломать прежний строй. Бог попустил. За всеобщее Богоотступничество. И всё, что происходит сейчас, это уже Божья кара.

Владыка молчал. Он думал о том, что у них мысли сходятся. И это, конечно, отранно. Но...

Сталин продолжал:

– Поверь, отец. Меня окружение ненавидит. Боится и ненавидит. Они творят в стране то, что от них требуют заграничные хозяева. Причём, делается так, что я о многом не знаю. За моей фальшивой подписью выходят тысячи подложных приказов. Доказать, что это фальшивка, невозможно. Всё делается с филигранным мастерством. Кто конкретно этим занимается, кто переводит стрелки в ту или иную сторону? Ничего не докажешь, концов не найти. Я бессилён проследить и остановить этот запущенный поток смерти, остановить этот маховик массовой рубки. Я оказался заложником. Ко мне не доходят тысячи писем и телеграмм, я не получаю от своих многочисленных лизоблюдов достоверной информации. Вот почему, напомню, я был вынужден создать свою тайную разведку. Но она, увы, лишь капля в море, и далеко не так сильна, чтобы я мог быть по-настоящему уверенным на этом посту. Мне создали ореол всемогущего властелина. А на самом деле я винтик в машине, а управляют этой машиной из-за рубежа. Рано или поздно они обязательно убьют меня. Это произойдёт тогда, когда я решусь на самые неудобные для них решения. А после моей смерти моё имя начнут топтать. Меня в глазах потомков сделают тираном. Они обесславят меня так, что следующие поколения будут называть меня самым ужасным человеком за всю историю России.

– Понимаю, Иосиф... Но горестно, страшно, ведь гибнут, и их всё больше, их уже многие тысячи, гибнут лучшие люди нашей страны. Верные сыны Христовы. Их семьи. Господи, помилуй... Но греет сердце надежда, что Господь смилуется. Христос сказал: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её». И когда-то настанут иные времена, верю в это. А погибшие за Христа люди будут Церковью причислены к лику мучеников.

– Владыка, ты бредишь мои раны.

Сталин долго молчит. Он сидит, склонив низко голову, всем туловищем навалившись на стол, широко расставив локти по столу, стучит ложкой по дну пустого стакана.

Наконец, он поднялся. Постоял, размышляя, сказал неспешно:

– Буду делать то, что в моих силах.

– Смотри, не тяни. Бог поругаем не бывает. За смерти людей Божиих их мучители буду гореть вечно в аду. Если против Бога грешат правители, то Господь наказывает весь народ. На страну движется гнев Божий.

Перед самым началом съезда Ваня велел Антону, уже переодетому во всё новое, чистое, стоять у дверей перед выходом на сцену. С Антоном попросились быть рядом Ира и Игорь, они боялись оказаться одни, без Антона. Им тоже выдали хорошую, чистую одежду и обувь.

Вскоре к детям подошёл улыбающийся Сталин, взял Антона за руку, и все пошли на сцену. Антон увидел, что большой великолепный, ярко освещённый, зал заполнен людьми. Делегаты поднялись и стали аплодировать вождю. Сталин громко сказал:

– Перед тем, как начнём работу над вторым пятилетним планом развития народного хозяйства, давайте окунёмся в мир детской чистоты и искренности. Пусть это пройдёт, как говорится, не для прессы, а для души. Вот сейчас этот мальчик споёт нам хорошую правдивую песню, а мы ему все потом дружно похлопаем. И кстати, как мне сказали, из Тулы рабочие гармонию привезли в подарок съезду. Это хорошо. Кто-то умеет на гармони играть?

– Я умею, меня папа научил, – сказал тихо за спиной вождя Игорь.

Сталин обернулся и снова заулыбался.

– Молодец, Игорь, помогай брату, бери гармонию, – сказал Сталин.

Игорю не привыкать. Дома они с отцом любили по очереди играть на гармони, а мама и Антон пели. Ваня вынес на сцену стул для Игоря. Мальчику дали в руки гармонию. Он заиграл, при звуках гармони ещё сильнее закипели воспоминания о погибших родителях, сестричках и братике, и слёзы потекли по щекам.

«...Вставайте, молодцы лихие,
молитесь Богу, час настал,
сегодня мы идём в дорогу,
на смертный бой нас Бог призвал.
Мы будем биться за Отчизну,
За веру в Бога, за царя,
И станет тихо в поле чистом,

В земле сырой спят сыновья», – последний куплет Антон пропел два раза, об этом его перед выходом на сцену попросил товарищ Сталин.

...Песня Антона под тульскую гармонию произвела на коммунистов впечатление. Антон это понял по тому молчанию, которое повисло в огромном зале. Сталин окинул взглядом людей, поднялся и первым захлопал. Весь зал встал, начались овации.

Сталин улыбнулся. Все тоже стали улыбаться и приветливо кивать Антону.

– Вот вам, дети, на память, идите-ка сюда, – Сталин вручил подарки – филателистические альбомы с надписью «Делегату XVII съезда ВКП(б)».

Сталин велел накормить детей в кремлёвской столовой и провести для них экскурсию – показать им первый московский троллейбус ЛК-1 «Подарок 17 съезду ВКП(б)».

Эпилог

«Сталин сдержал слово. Жизнь Игоря, Иры, Антона в дальнейшем шла под высоким покровительством. О их судьбе благодаря участию в 17-м съезде стало известно многим. Написали о них в газете. Товарищ Сталин дал поручение подыскать для детей хорошую семью, чтобы взяли на воспитание. Такие люди нашлись, бездетная пара, коммунисты. Их представили Иосифу Виссарионовичу. Игорь согласился на усыновление. Антон с Ирой, когда узнали, что им предлагают жить под одной крышей с атеистами, запротестовали. Товарищ Сталин простил такое поведение своим любимцам. Игоря увезли в новую семью, там и вырос, ничем его не обижали... Дети закончили в Москве школу. Было выделено государством каждому по трёхкомнатной квартире», – закончил рассказ Сергей Поликарпович .

Анна Владимировна, посвящённая в тайны семейной легенды Монастырских, считает, что в рассказе Сергея Поликарповича акценты расставлены не так, как следовало, поэтому продолжает повествование.

«Что касается Иры и Антона. По окончании школы они решили пожениться, но началась война. Отложили свадьбу до победы. Войну прошли с молитвой к Богу, рука об руку, дошли до Берлина. «Бог хранил нас!» – рассказывали они потом своим детям. На свадьбе у Монастырских летом 1945 года почётными гостями были Сталин и его секретарь Ваня. Связь со Сталиным у Антона сохранялась до самой кончины вождя – через Ваню. А к нему был у Антона выданный Сталиным специальный кремлёвский пропуск.

Игорь на войне тоже был рядом с Антоном. «Чтобы эту троицу никто не разлучал!» – распорядился товарищ Сталин.

Как-то накануне сражения Игорь сказал Антону:

– Мне приснилась смерть. Наверное, я погибну.

– Покайся, брат. А там – на всё воля Божья.

Смертельно раненого Игоря доставили в госпиталь. Антон просил врачей привести к брату священника. И – священника нашли! Чудо! Неизвестные люди привели батюшку, тот исповедал и причастил умирающего.

+++

После войны Антон Монастырский поступил в Московскую духовную академию. Принял священнический сан. В семье протоиерея Антония и матушки Ирины родилось девять сыновей. Шестеро были рукоположены в священники, а у троих жизнь пошла не по церковному пути. Один выбрал партийную деятельность, другой – бизнес, а один из сыновей стал бродячим бардом-поэтом. Немалую часть жизни семья отца Антония прожила в Заполярье, туда Монастырских отправила хрущёвская власть. На старости лет вернулся отец Антоний в Москву, к тому времени вдовец, принял монашеский постриг.

«Так и появился среди нашей родни свой монах», – перебивает жену Сергей Поликарпович и больше на эту тему не хочет говорить.

Молча слушает воспоминания своих родителей Богдан Сергеевич Монастырский. Ему есть что добавить, но зачем. Он так и не рассказал домочадцам, как однажды к нему в служебный кабинет приходил протоиерей Антоний Монастырский. Он пришёл искать поддержки. «За «одурманивание советских граждан» меня собираются с семьёй на Север отправить. В ссылку. Не за себя прошу, за детей с супругой. Хотя бы их не трогали». Богдан Сергеевич держал себя холодно, запретил искать встреч. Он сильно раздражился. Когда двоюродный брат ушёл, Богдан Сергеевич на вопросы подчинённых сказал, что не знает этого человека. О чём говорить со священником коммунисту. Зачем он приходил, не знает. Прогнал. Его объяснения удовлетворили окружающих, а значит и тех, кто числился в тайных осведомителях органов

госбезопасности. Была хрущёвская тьма, закрепившаяся в истории под названием «оттепели». Снова шли гонения на церковь.

Хотел Богдан Сергеевич рассказать жене о встрече с родственником-священнослужителем, но раздумал. Мало ли. От греха подальше. Вот и сейчас, слушая рассказ отца о жизни племянника, Богдан Сергеевич укрепился в мысли, что всё сделал правильно.

В роду Монастырских эту историю передают из поколения в поколение. И, как это бывает, она обрастает новыми подробностями.

Конец сказа об Антоние

Глава 4: Сергей Поликарпович и Анна Владимировна Монастырские

Сергей Поликарпович Монастырский успел за свою жизнь многое благодаря хорошим отношениям с властью. Женился на Анне Владимировне Болезненной за год до начала революции. Воевал Сергей Поликарпович и во время Гражданской, и во время Великой Отечественной.

Вместе с идеей революции он принял, как потом говорила его верующая супруга, и дух безбожия.

И всё же что-то теплилось, видно, в его сердце, ибо был он тайным, хоть и пассивным, противником гонений на церковь.

Не терпел ложь, «имел совесть», и, как сам признавался, в этом он объективно видел пользу той церковной закваски, что получил в детстве от попа, главного деревенского учителя и духовного наставника сельчан. Вслух же, до конца своей жизни, Сергей Поликарпович называл себя атеистом. Партийный билет считал святыней. Говорил, что не верит в загробную жизнь. Всё это являлось причиной пламенных семейных дискуссий между ним и супругой. Особенно удручала мою бабушку невенчанность брака.

Анна Владимировна стремилась привить сыну любовь к молитве, но, как она потом не раз с горечью рассказывала нам, внукам, пример отца, влияние школы и в целом советского строя оказались сильнее. И к великой горести Анны Владимировны мой папа всё никак не желал принять идею Бога. Анна Владимировна по этому поводу имела великую скорбь на сердце, она говорила: «Наш край нижегородский – святое место. Сколько у нас великих святых. Батюшка Серафим Саровский за нас молится. А у нас в роду атеисты. Горе!»

Незадолго до кончины она предсказала последующим поколениям рода Монастырских в случае их безбожия «поганую жизнь» и, если не покаются, «дно адово».

Эти слова в устах моей бабушки прозвучали гневно и торжественно, как послание не только нашему роду, но и всем безбожникам необъятной страны Советов.

В те памятные дни, когда на бабушку снизошло гневное пророческое вдохновение, мы с Богданом, десятилетние отроки, гостили на школьных каникулах в Горьком у деда с бабой.

Мы устроились у её ног, – в ожидании, когда она будет читать нам обещанного Тома Сойера, а та, уже больная, немощная, сидя в кресле, говорила с мужем, молчаливым и нахмуренным. Он прохаживался по комнате, себя сдерживал.

(К старости он стал меньше препираться со своей супругой. Может, потому, что пришлось испытать силу её молитв. И от пьянства отучила, и от походов к девкам. Дед был активным поклонником противоположного пола, и это скрыть было сложно из-за его правдивости. После очередной измены он стоял на коленях перед женой и честно признавался в грехе, как на исповеди. Но что удивительно, «честная глупость», как характеризовали поведение деда его друзья, вопреки их прогнозам спасла брак Монастырских. Не будь тех покаянных минут, как утверждала сама Анна Владимировна, она бы разошлась с мужем. Виноватые глаза трогали её христианское сердце, и она прощала, вспоминая евангельскую заповедь прощать до семижды семидесяти раз. «Только ради Христа!» – говорила она и уходила в красный угол «отмаливать негодяя».)

«Безбожникам дорога – в ад. Чем краше – тут, тем горше – там, где червь неусыпаемый. И ты, Сергей, и дети наши, и внуки, всем уготована одна участь твоими безбожными усилиями. Как и весь этот строй, колосс на глиняных ногах. Любое дело, хоть малое, хоть большое, если без Бога – не устоит. Рухнет держава гнилая, не при нашей жизни, так при внуках. Господь ещё

покажет свой гнев. И не смотри на меня, не смотри. А будет что, спрашиваешь? То и будет! Разврат, пьянство, пустота, блажь, взяточничество, карьеризм, зависть, алчность, злоба, накопительство. Вот куда ведёт твоих потомков безбожие, вот куда – тропинки. Потому человек без Бога превращается в скотину без тормозов. И что уже и сейчас видно на наших современных гражданах. Разуй глаза. Куда катимся. Святого нет у людей. Святое у них – жрать, спать, гулять, тибрить с работы, вся страна тибрит и тибрит, да на демонстрациях марширует. Вот так к сатане домаршируетесь. Ваши идеалы – на крови миллионов невинных людей. И это вам до лампочки Ильича. Молитесь на МарксаЛенинаСталина – троицу антисвятости».

«Ты вот что», – Сергей Поликарпович рассердился. «Маркс, Ленин, Сталин – это зачем сюда, вот это точно святое. И если есть рай, то эти великие люди обязательно будут в раю». Бабушка плюнула и принялась нам читать Тома Сойера. Было это в 1968 году, оставался год до смерти бабушки, и два года до смерти деда.

Благодаря бабушке мы с Богданом были в младенчестве без ведома наших родителей крещены.

Во время прогулок бабушка водила нас в церковь. А с нас взяла слово, что мы про это «никому не расскажем». И мы бабушку не «продали». Мы её любили, и не хотели ей неприятностей.

Но не только пьянки-гулянки значились за моим дедом Сергем Поликарповичем. Числился в его жизни грех такой величины, что чуть не привело к разводу с женой. С самого момента свадьбы не давал ему покоя тот факт, что родители молодой супруги живут независимой от государства церковной жизнью. Более того, отец Анны Владимировны – Владимир Петрович Болезненный – ну ладно, церковный староста, благочестивый христианин, это ещё куда ни шло, но он пошёл поперёк указаний партии, встал на защиту, вот блажь, – церковного имущества. Да как можно из-за таких глупостей вступать на путь государственной измены. И это в то время, когда голод в стране и надо выполнять призыв партии о конфискации церковных богатств в пользу голодающего Поволжья. Так размышлял Сергей Поликарпович, человек патриотически настроенный.

Владимир Петрович Болезненный – не из тех, кого запугать можно. Не устало Болезненного то, что приходского священника арестовали. Владимир Петрович на правах церковного старосты взялся самолично защищать церковь. И показал себя: когда местные активисты приходили сбивать с церковного купола крест, Владимир Петрович молился громко, неистово, призывал имя Божие и Царицу Небесную на помощь.

В течение недели оба коммуниста, приходившие сбить крест и свалить затем колокол, поочередно сорвались с церковного купола и разбились насмерть.

Сергей Поликарпович также, как и его однодумцы, был убеждён – это произошло по «вражеским молитвам» гражданина Болезненного. Свои соображения Сергей Поликарпович в гневе высказал вслух при стечении народа после гибели второго коммуниста. А крест на церковном куполе продолжал блестеть в солнечных лучах. Более того – в небесном пространстве произошло необъяснимое явление: радужное сияние в форме креста. А гражданин Болезненный указал на небо перстом и назвал этот, случайный по мысли местных атеистов природный катаклизм, подтверждением того, что Бог поругаем не бывает.

В голосе церковного старосты Сергею Поликарповичу почудилось злорадство, что привело Монастырского в ещё большую ярость. И хотя служебного расследования он не затевал, события получили огласку, попали в печать, и дело приняло трагический оборот. Отца Анна Владимировны выслали в заполярный край. А следом и его супругу, как жену врага народа.

Анна Владимировна тяжело переживала случившееся, ушла в опустевший родительский дом. Там полгода плакала и молилась. Муж приносил выдаваемые партийным работникам продукты. Отказаться от пайка ей было трудно, тут она не могла ничего с собой поделывать. В ту пору повсеместного голода была она несправдливой. Мальчик родился слабым, больным, прожил лишь

две недели. Горе сблизило супругов. Муж ухаживал за тяжело хворавшей супругой. Привозил докторов, доставал лекарства. Жизнь болящей была, наконец, спасена. Анна Владимировна осталась с мужем, а спустя недолгое время вновь забеременела.

В 1933 году родители Анны Владимировны вернулись домой – за эти страшных десять лет они из крепких, здоровых людей превратились в инвалидов. Сергей Поликарпович общаться с «той стороной» отказался, поездки жены в деревню к опальным родителям не приветствовал. Семья Монастырских благодаря партийной карьере Сергея Поликарповича переместилась в центр, в Горький, который местное население по привычке продолжало именовать Нижним Новгородом.

Родители Анны Сергеевны не долго продержались после возвращения из ссылки в старом гнезде. Кто-то из злобствующих ночью поджёг дом четы Болезненных. (Говорили – в результате сговора мстительных родственников тех людей, которые десять лет назад сорвались с церковного купола во время снятия креста). Болезненные успели выскочить из пылающей избы. Благодарили Бога за своё спасение. Но куда деваться... Голодные, нищие, добрались не без скорбей и лишений в город к дочери за помощью. Зять встретил погорельцев настолько сурово, что Анна Владимировна, будучи снова непраздной (во чреве носила она моего отца Богдана Сергеевича), собрала вещи, и повела всех, родителей и троих детей, на вокзал за билетами – куда ехать, сама не ведала.

Сергей Поликарпович дома не был, когда случился побег супруги с детьми. Обнаружив своё внезапное одиночество, он выпил стакан самогонки и от избытка тоски стал звонить товарищу детства, высокопоставленному чину ОГПУ. Сергей Поликарпович хотел пожаловаться на судьбу, услышать совет и, быть может, получить помощь. Но честное слово, он не хотел ничего плохого! (В таких выражениях он будет потом объясняться с женой). Высокопоставленный товарищ детства растолковал звонок друга как просьбу наказать беглецов.

Жену с детьми Сергею Поликарповичу вернули, а вот её родителей – расстреляли. За «неприятное отношение к Советской власти». Говорили, что когда чекисты взяли провинившихся под руки, то отец Анны Сергеевны оттолкнул от себя человека в форме. Это затем было зафиксировано в протоколе в качестве наглядного подтверждения антисоветских настроений обвиняемых. Записали также и ещё одно доказательство враждебного настроения к Советской власти: «Переглянулся с женой и вздохнул с большой скорбью».

Узнав о расстреле тестя с тещей, Сергей Поликарпович, человек далеко не бессердечный, был искренне огорчён. Он не мог смотреть на убитую горем жену, запил и решил покончить с собой. Своё решение он осуществить пытался всерьёз и даже не один раз. Для этого он выходил на улицу и кричал, что идёт вешаться. Приходили соседи. Ждали. Потом связывали пьяного Сергея Поликарповича той самой верёвкой, из которой он пытался скрутить петлю.

Анна Владимировна год отпаивала едва не сошедшего с ума травяными чаями. Борьба за здоровье несчастного в какой-то степени смягчила её горе и не дала разорвать супружеские отношения. Но вот потом...

Самое страшное горе пришло вместе с приездом к ним в семью из Днепропетровской области дальнего родственника – Михаила Монастырского. Был дядя Миша известен в роду как путешественник-попрошайка. Ездил по городам и весям от одних к другим ближним и дальним Монастырским за «куском хлеба». Приезжал обычно с двумя пустыми чемоданами в надежде на их заполнение – хоть едой, хоть одеждой. Клянчил со слезами, рассказывал, что на Украине ждут его пять детей. В этот свой приезд привёз дядя Миша в семью Монастырских не только два пустых чемодана, но и заразную болезнь из украинских земель, где в ту пору свирепствовала массовая эпидемия, скрываемая от широкой общественности советскими властями. Вместе с дядей Мишей забрала малярия из жизни троих старших детей Монастырских, оставив родителям Богдана, моего отца.

Мечта Анны Владимировны Монастырской (в девичестве – Болезненной)

/рассказ Кати Небылицы /

– Отче наш, иже еси на небесех...

– Отче-отче... Не надоело? Ложись. Ночь. Ни твоему «Отче» спать не даёшь, ни мне.

Анна прислушивается. Шарканье, шаги, стук дверей...

Она возвращается к бормотанию.

Муж заглядывает в комнату:

– Анька. Одурела? Говорю, спи, ночь ещё.

Она задувает лампадку. Уходит к кровати и, не снимая байковый халат, ложится. Муж смотрит, как она укрывается, как подталкивает под бока одеяло.

– И чего я в тебе нашёл?

Она молчит.

– А то, может, пустишь к себе? Вдвоем-то получше... А?

Анна показывает из-под одеяла дулю.

– Вот-вот, я ж и говорю, ничего в тебе нет. А ты ещё спрашиваешь, почему молодых ищу, – говорит муж.

Она приподнимается на локоть, хочет что-то сказать. Вспоминает, что собралась причаститься. Укрывается с головой, бормочет: «Господи, помилуй».

– Прокурор тебя помилует, – говорит муж и уходит.

Она прислушивается.

Слышен скрип кровати – ага, укладывается...

Послышался храп – ну, наконец-то.

Она зажигает свет. Встаёт на молитву.

После молитв достает из серванта бутылку. На бутылке клейкой лентой прикреплена бумажка. На бумажке от руки написано крупными печатными буквами: «Крещенская вода». Рядом нарисован крестик. Из холщового мешочка вынимает кропило. Кропит святой водой себя, комнату. Снимает тапочки, на цыпочках босиком крадётся в зал. Кропит книжный шкаф.

– Молоко-о-о! – доносится с улицы.

Анна идёт в мужнину комнату. Закрывает форточку. Муж спит, накрыв голову подушкой.

Она бросает взгляд на часы. Пора выходить...

– Владимировна! Молоко-то, а? Утреннее, парное!

Анна кланяется в ответ, прикладывает палец к губам. Слышно, как шебуршит ветер в сухих листьях.

– Не, молчать нельзя, – говорит молочник. – Я так и молоко не продам, если молчком стоять. А ты почему ничего не покупаешь? Опять пост, что ли? Ваши посты церковные: сплошные убытки. Сергею хоть возьми, ему же в церкву не надо!

Она уходит. Голос за спиной всё тише.

Идёт мелкими старушечьими шажками, прищёптывает: «Господи, помилуй!»

В церкви сумрак. Шорохи, шелест. На скамьях вдоль стен несколько женщин молча ожидают начала службы. Мужчина в дорогом нарядном костюме, при галстукке, быстрым шагом прошёл, приложился к иконам, поставил три толстых свечи, поклонился, так же быстро ушёл. Слышится перезвон, дьякон готовится кадить, сейчас выйдет. Молодая высокая девица в черном казённом фартуке ходит между подсвечниками, зажигает с вечера оставленные свечи. Зевает, крестит рот, поправляет съехавшую на глаза косынку. Собираются певчие. Юноша-чтец в центре храма разложил на аналое богослужебные книги, зажёл настольную лампу.

К группе исповедников направляется священник с Евангелием и медным крестом в руках.

Перешёптывания затихают.

– Согрешила многословием, осуждением, гордостью... – громко зачитывает с заранее приготовленной записки старуха в наутюженной длинной юбке, волосы спрятаны под белой косынкой, на ногах носки толстые, шерстяные, и домашние тапочки с задниками, поверх тапочек блестящие калоши.

– Тугая на уши, себя не слышу, – поясняет старуха

Анна старается не вникать. Но услышанное о чужих грехах мешает. Мысли тут как тут. Борьба с помыслами – дело трудное. Только зазеваешься, как дурную мысль и проворонишь.

Со священником Анна говорит о наболевшем.

– Муж на партийных должностях был. Дома шкаф – в книгах Ленина, Маркса. Не могу его уговорить выкинуть.

– Помолитесь усердно – Бог вразумит.

– Мне бы и от вас совета какого, батюшка.

– Старайтесь покрывать всё любовью. Со смирением подобает относиться к немощам ближних.

Идёт ставить свечи. Размышляет. Озадачена. Конкретно о книгах духовник так ничего и не сказал.

После службы Анна Владимировна дожидается приятельницу:

– Наталья Ивановна, вместе пойдём домой?

За церковной оградой, перекрестившись, идут под руку, не спеша. Людей мало. Колокола отзвонили. Тихо. Две нищенки у ворот. Проезжая часть дороги пока без машин. Дворники в оранжевых фартуках метут листья.

На пустых перекрёстках женщины смотрят на светофор.

– Наталья Ивановна, что-то вас давно не вижу на службах. Домой по вечерам мне одной несподручно возвращаться.

– Да я, Анна Владимировна, по работе загружена.

– Что, в школах и по вечерам уроки идут?

– Тетради проверять надо.

– Вы вот человек грамотный, с образованием. Вас мой муж уважает. Он вас послушает, Наталья Ивановна.

– О чем вы, Анна Владимировна?

– Просьба. Загляните в гости. Минут на десять. Что ж мы вместе из церкви ходим, а у меня ни разу не были. Чая попьём. Да заодно проблему одну поможете решить. У меня муж не хочет от Ленина-Маркса избавиться. А книжек этих – до потолка. За всю жизнь накопил. На Ильича молится. Над кроватью – Ленин со Сталиным в рамах позолоченных.

– А вы, Анна Владимировна, тоже раньше коммунисткой были, пока не уверовали?

– Упаси Бог! Мама нас в благочестии растила, по псалтыри азбуку учили, в церковь родители брали с собой.

– А как же вас угораздило за коммуниста выйти?

– Так Господь рассудил. На всё Его воля.

– И что, муж разрешал вам в церковь ходить?

– А что ему. Ему было некогда. По партийным собраниям ездил до ночи, всю область исколесил. Он ведь у меня шишкой служил.

– Но он знал, что вы верующая?

– А куда ему деваться. Знал, конечно.

– И иконы в доме были?

– И иконы были, и лампадка. Всё, как положено. А вот сына, Богдана, приучить к церкви так и не удалось. Дурной пример отца-атеиста перевесил.

– Так что от меня требуется?

– Когда зайдёте – начните издалека, как здоровье, как дела, как живёте... Слово за слово. Оглянитесь: «О, сколько у вас книг. Да что же это за книги такие?». Приглядитесь, да и скажите ему: «Неужели вам не страшно?». Мой муж, конечно, заинтересуется, почему это ему должно быть страшно. А вы, человек образованный, дайте пояснение. Слышала, мол, по радио, учёные проводили исследования: нахождение в доме книг, подобных трудам Ленина, действует негативно на психику человека, а самое главное – угнетает половую систему. Энергетика плохая.

– Зачем такое говорить, Анна Владимировна, родненькая?!

– Муж мой всю жизнь погуливал. И по сей день как жеребец. Сколько с ним навидалась! Приходилось в своём доме с чужой бабы снимать.

– Анна Владимировна, это как бы не моё дело, а книги здесь при чём?

– Так он больше всего на свете боится потерять мужскую силу.

– Ой, шутите, наверное. Ему уже о-го сколько лет!

– И что с того. А ему хоть тресни. А если знающий человек скажет, что книги коммунистические из-за плохой энергетики могут лишить потенции – то, я уверена, испугается ещё как! Тут мы их и вынесем на свалку. Дышать легче станет.

– Неудобно мне в этом участвовать. Давайте так: если батюшка благословит, тогда и поговорим. Возьмите сначала благословение.

- Какое ещё благословение! Батюшку дёргать!
 - А вот мы уже и пришли. Ну, до свидания, Анна Владимировна.
 - Так что, ничего и не решили?
- Приятельница машет в знак прощания.

Дома всё так же, как и до ухода в церковь. Тихо, и только храп мужа.
Анна читает благодарственные молитвы после Причастия.

За завтраком говорит:

- Сергей, ты вот что, ко мне больше в постель не лезь.
- Это ещё почему?
- Надо повенчаться сначала.
- Одной ногой в гробу, а она... Анька, ты в своём уме, курица безмозглая! Какое венчание ещё?!

– Поэтому и говорю. Пусть я курица, но или венчание организуем – или семейное ложе пойдёт на свалку. Не хотел ты, Сергей, многими десятилетиями по-божески жить, так хоть сейчас, в конце жизненного пути, одумайся. Как к Богу пойдём? Что скажем?

– Ну, какой Бог в гробу?

– Умрёшь, вспомнишь мои слова. Как душа прилетит к Богу, так и узнаешь, что почём. Тело твоё в гробу останется, а душу Бог в ад пошлёт, к блудникам. А я не хочу туда. Уже сколько твержу: в не венчанном браке – это равнозначно тому, что в блуде.

– Так ты, значит, действительно всерьёз. Ох, насмешила... Ну, повенчаемся, а потом что? Неужто изменится что-то? Какой смысл? А ежели тебя одной мне не хватает?

– Тьфу!... Пока не повенчаемся, в постель не пушу. Хватит, что по несколько раз с меня не слазил за ночь.

Муж смеётся. Уходит к телевизору.

Ночью скребётся.

– Нет! – говорит Анна.

– Открой. Напридумывала – ишь, на запоры позакрывалась. Или разлюбила, дура?

Она демонстративно подхрапывает. Муж чертыхается. Включает на полную телевизор. Анна затыкает уши ватой. Повторяет Иисусову молитву. Дремлет.

Через две недели муж даёт Анне согласие:

- Но чтобы ни один из наших коммунистов не узнал.
- А я думала, они перемёрли.
- Не важно. Чтобы никто не пронюхал.

На венчание он надел белую рубашку, парадный костюм с юбилейной медалью Ленина. В церкви, как и пообещал старикам настоятель, – пусто. Дверь за ними на замок закрыли.

После венчания шли по городу под руку.

Сергей ущипнул Анну:

– А теперь обещанная ночь молодожёнов!

Но вышло не так, как хотелось Сергею Поликарповичу. Вместо супружеского ложа на больничной койке оказался. А случилось вот что.

Поругался Сергей Поликарпович с женой за праздничным ужином: на идеологической почве – из-за Ленина со Сталиным.

Анна потребовала убрать портреты партийных богов из мужниной спальни, и вдобавок очередной ультиматум выдвинула.

– Мы как никак – обвенчанные! А это с атеистическим коммунизмом несовместимо. Иначе, – говорит, – никакой «ночи молодожёнов».

– Ну, ты и язва, – возмутился Сергей Поликарпович. – Всё тебе мало. Прямо старуха из «разбитого корыта».

Так рассердился, ну прямо не знал, чем досадить. А тут под рукой керогаз горит. Керогаз хороший, Сергей Поликарпович в своё время с ним принципиально расставаться не пожелал, вопреки прогрессу и газификации страны. Для Сергея Поликарповича керогаз – это память о советском прошлом. Можно сказать, память о Сталине. Государственная реликвия семейного масштаба.

Так вот, эту самую реликвию он с пылу-жару в приступе гнева себе на голову и напялил. А ведь мог и жене! Но, получается, пожалел жену. А у самого, вон, волосы и уши обгорели.

Ходит жена к нему в больницу. И по два, и по три раза в день приходит. Сидит возле обмотанного бинтами жалостливая, притихшая такая. Виноватая. Сергей доволен. Вот знал бы раньше, как жену заставить себя любить, так и два керогаза на голову нацепил.

– А Бог где? – спрашивает врача Сергей.

– Не обращайтесь внимания, – пояснил врач Анне. – Это от уколов. Мы ему морфий укололи.

– А Бог ушёл уже что ли? – в голосе больного удивление.

Забылся.

Анна прилегла рядышком на сдвинутых стульях. Размышляет. И чего это Сергей про Бога заговорил? Уж не знаменье ли ему было?

Жизнь в больнице интересная. Но тяжёлая. С одной стороны – люди друг другу рассказывают истории. Анекдотами обмениваются. Смеются. А с другой стороны – дух больничный, казённый, запахи неприятные, стоны. А то и мертвеца под простынёй на каталке через коридор прогонят. Сергей посматривает по сторонам, молчит. Мысли у него о своём. Случилось с ним такое ...

Увидел отца с матерью. «Вы же умерли», – удивляется Сергей. «А у Бога все живы». – «Где же Он, Бог-то?» И сверху, слышит, Голос в ответ: «Сергей. Бог есть. Больше не греши».

«Дал Господь срок образумиться», – думает Анна.

Выписали Сергея.

Домой приехали, он первым делом на стул в прихожей сел для передышки, говорит жене:

– Слышь, Ань. Ты, может, собрала бы все эти собрания сочинений, да на мусорку. ...

– Чего это вдруг? Иди хоть, приляг.

– И портреты вождей туда же.

– Да уже давеча всё сделано. Макулатурщиков вызвала, они и забрали.

Он пошёл, придерживаясь за стенку. Возле шкафов книжных остановился, сказал, разглядывая опустевшие полки:

– И поспрашивай у соседей, может, кому телек требуется, так пусть мой забирают.

– Уж не помирать ли ты собрался?

– Ага, как же. У меня жизнь только начинается!

Конец рассказа Кати Небылицы об Анне Монастырской

+ + +

Что касается бабушки и дедушки по материнской линии – сказать могу вот что.

С 1923 по 1933 годы Иван Николаевич Боголюбов десять лет отсидел в лагерях за то, что воевал на стороне белых. Елизавете Петровне за вину мужа тоже пришлось пробывать в ссылке десять лет. В 1933 году они вернулись в родной город, который для них по-прежнему оставался Нижним Новгородом, а новое название они не желали и слышать.

В 1934 году родилась Ольга – моя мать. А через три года, в тридцать седьмом, родителей по доносу соседей судила тройка НКВД. В доносе Боголюбовым припомнили также и их нелюбовь к советскому переименованию города. Судьба их была решена в течение трёх дней. Боголюбовых расстреляли, их жильё в качестве награды за бдительность передали в распоряжение доносчиков-соседей, а трёхлетнюю дочь врагов народа определили в детский дом.

Обитатели детского дома вне уроков проходили азбуку жизни. К шестнадцати годам моя мама научилась курить махорку, плясать с распущенными волосами, ходить на демонстрации в алой косынке, зажиматься с мальчиками. Это называлось «свобода, равенство, братство».

Поженились мои родители в 1957 году, Ольге Ивановне было 23 года, Богдану Сергеевичу – 24. Оба – выпускники пединститута иностранных языков. Через год на свет появились мы с братом.

Глава 5: Няни

Самыми яркими фигурами в нашем доме были для нас с Богданом, однако, не родители, а няни. (А для меня ещё и Катя. Но про Катю – это надо особо. Катя – это то, что помогало мне находить равновесие.)

Тётя Рита со смешной фамилией Небылица (родители называли её Ритольдой) и тётя Маша, или Мария Фёдоровна Твёрдая. Ритольда заведовала в доме, помимо обязанностей няни, ещё и кухней, а Мария Фёдоровна наряду с нашим воспитанием занималась уборкой квартиры и, при надобности, тоже кухней.

Я обожала общительную, жизнерадостную Ритольду, в ранней молодости работавшую официанткой в ресторане для высокопоставленных партийных работников. По общедоступной легенде там и приглядел её наш отец, позвал «к малым детям в повара и няньки», так и осталась у нас Ритольда на многие годы. Ритольда, казалось, не замечала, сколько нам лет, пять или уже в два раза больше. Она видела в нас равных ей самостоятельных людей, и могла позволять в нашем присутствии такие сказы и подтексты, какие взрослыми обычно замалчиваются при детях. Это меня восхищало.

Рядом с Ритольдой я испытывала особое чувство взрослости и любопытства, как будто мне разрешали засунуть голову в форточку чужого дома. Мне нравились её шутки, грубоватые песенки, бесхитростный характер. Это от неё я услышала и выучила кошмарную «Зиночку»: «Родила мама Зиночку, купила ей корзиночку, расти моя дочурка, подрастай». Правда, некоторые слова были непонятны. Однажды на крупном застолье в нашей семье меня, десятилетнюю девочку, попросили спеть какую-нибудь красивую песенку. Я спела про Зиночку от начала до конца. «Луна за тучи скрылася, когда она ложилася и закрывала карие глаза, там лопались гондончики, трещали панталончики, по ляжкам малофеечка текла!... Охотник ищет белочку, а мальчик ищет целочку, так вот зачем нас мама родила...». Толпа рыдала, топала ногами и кричала «бис!». «Далеко пойдёшь!» – утирал слёзы дяденька, которого все называли судьёй. Родители потом расспрашивали, кто научил меня неприличным песням, но я Ритольду не выдала.

Она читала нам много русских сказок. А «под сказочку» употребляла «кофий со сливками». Она говорила: «кофий со сливками». Иногда сливки подменялись коньяком. Но она всё равно это называла «сливками». Богдан сказки слушал, а когда чтение перерастало в воспоминания няни о жизни, то брат уходил к другой няне, говорить о Боге. Уходила с ним и дочка Ритольды – моя лучшая подруга Катя Небылица. Мы с Ритольдой оставались на огромной роскошной кухне вдвоём. Рассказывала она о своих кавалерах, и о том, что всё ещё не против выйти замуж.

«Замуж, пожалуй, стоит. Но! – Ритольда поднимает палец. Смотрит мне в глаза, после паузы продолжает. – Но не знаю, смогу ли я терпеть мужика. А выйти замуж не сложно. Их вон сколько, только пожелай! Но потом ведь за ним, как за скотиной надо смотреть, столько сил и терпения тратить. Я недавно чуть не вышла замуж. Потом год отходила. Ему лет шестьдесят. Ухаживал за мной полгода. Рассказывал, как он пишет книги. Пишу, говорит... – Ритольда поднимает папиросу выше головы, несколько секунд молчит и потом говорит чужим голосом, передразнивая бывшего кавалера. – Про то, как сила чувств побеждает разум. Слышь?! – хохочет. – Потом он говорит: «Приходи ко мне ночевать». Так говорит, что вроде бы, мол, пора! Мол, ухаживал достаточно. Ладно, чёрт с тобой. У него однокомнатная квартирка. Денег-то у него много, я точно знаю, а вот живёт до чего скудно. На книжку откладывает. Куда? На еду – и то экономит, а желудок – большой. Взял бы путёвку, поехал в санаторий... Слышь? «Ты начинай теперь хозяйничать». Мне говорит... А мне непривычно – вставать каждое утро и завтрак ему преподносить. Ходил он по квартире в одних брюках, которые были поверх ремня

в три раза закручены. Помню, мне от одного этого бежать захотелось. Но когда я зашла, уже перед сном, в комнату, а он... – Ритольда плюётся и хохочет. – А он лежит в чём мать родила на кровати, да вдобавок лицом вверх... И при свету! Господи, вот тут-то уж я и сбежала».

Ритольда смеётся:

«Вспомнила, слышь, ещё одного. Из моих ухажёров. Пыталась с ним жизнь начать совместную. Но! Как жить с чокнутым? Вот я зайду в комнату, встану у доски гладильной, утюгом мотаю, простыни складываю стопкой. Всё тихо, спокойно. А тут вдруг из шкафа кто-то дурным голосом. Я чуть не в обмороке. А этот чудило вылезает из шкафа. Рыгочет. Довольный. Или – лягу после обеда на кровать, только задремала, как мой любимый из-под кровати ка-ак прыгнет с каким-то козлиным бляением. Я верещу от страха. А он, идиотище, от смеха – на четвереньках. Ну? Как тебе? Пришлось и этому – пинка под зад».

У Ритольды, недалеко от нашего Кутузовского проспекта, была квартира, на Первой Поклонной, в старом доме. Ходили разговоры, что приглядел Ритольду мой отец вовсе не в ресторане для партийной номенклатуры, а была она любовью моего отца с детских лет. Их семьи в Горьком соседствовали, а мать Ритольды на правах домработницы была вхожа в дом Сергея Поликарповича Монастырского, крупного партийного работника. Тогда маленький Богдан не представлял себе жизнь без весёлой девочки Риты с бантиком в кудряшках, и обещал «посадить Риту под замок в сарай», чтобы «спрятать от старости», а в будущем жениться на ней. Если верить народной молве, Катю мой папа зачал, будучи уже женатым на моей маме, родилась Катя примерно в то же время, что и мы с Богданом. Об этих слухах я знала из трёпа дворовых соседок, с любопытством они смотрели на нас троих – меня, Богдана и Катю во время прогулок с Ритольдой.

Переехав в Москву, отец нашёл жильё и для Ритольды. Она приводила к нам свою Катю. Мне нравилось с ней играть. Катя была большеглазой симпатичной девочкой, общительной и весёлой. Она с готовностью делилась с нами конфетами, мандаринами и игрушками, всем тем, что ей запихивал в карманы мой отец при встрече. Она всем прощала, всех жалела.

А потом состоялся разговор отца и матери, который и расставил всё по местам в моей голове. Это был тот разговор, который я хотела услышать.

Я жаждала узнать тайну Кати. Особенно с той минуты, как во дворе какая-то тётя стала шептать мне, семилетней, странные вещи. «Деточка, расскажи маме, чтобы гнала в шею эту Ритольду с её дочерью. Я своими глазами видела, как твой отец в подъезде целовался с Ритольдой! А её Катя! Она же копия твоего отца!» Маме я ничего не рассказала. Но услышанное распалило моё воображение. Это мне напомнило сказку про Золушку. Шли годы. Но я не забывала, что в нашей семье есть тайна. И её когда-то я обязательно разгадаю. Да и узнать чужую тайну в большой квартире, где есть особые места для подслушивания, это ведь не так и трудно.

Я всегда подслушивала. Не только про Катю. А вообще. Для меня в нашей квартире было два самых интересных занятия: подслушивать, когда родители дома, и – рыться в вещах взрослых, шкафах, тайниках, ящиках, диванах, сервантах, – когда взрослых нет дома. Я подставляла стул, залезала туда, где за шторами вдоль стены длинные, сделанные руками отца стеллажи. Здесь пахло жизнью моего отца. Я открывала коробки с охотничьими патронами, трогала весы для пороха, смотрела в бинокль. Каждый раз находилось для меня что-то новое. Потом шла в мир мамы. Ковыряла заграничную помаду. Примеряла прозрачное женское бельё. Открывала пахучие флаконы. Листала дамские журналы. Пробовала на язык валерьянку... Чудный мир взрослой жизни...

Я всё ждала, ведь рано или поздно родители обязательно должны поднять тему Кати. И вот. Я стою, прижавшись к стене. Я совсем близко к спальне родителей. Я замерла возле кадки с какими-то огромными африканскими листьями, они дышат мне в лицо своей Африкой. Я вдыхаю жар белых песков и чёрных людей. Я тоже чёрная. Чёрная тень прячет меня внутри своей тайны. Чёрная тень делает чёрной мою душу. Мой слух устремлён к звукам голосов. Я

понимаю, что делаю плохо, и от того моей душе, на которую падает чёрная тень, неудобно. Я слышу, как чмокает в кадке земля. В этой земле сыро и много бриллиантов. Это вода. Когда-то я превращусь в эту землю. Я стану землёй. И небо будет украшать меня бриллиантами. Но я уже буду землёй. Я смотрю на землю и знаю, что на самом деле я вижу себя. Из моих глаз падают бриллианты. Я вижу, как их поглощает земля. Я становлюсь на колени, мои глаза рядом с тьмою, внутри тьмы – я. Мне хочется к родителям. Но им не до меня. Они заняты. Я слушаю их разговор, и мне становится весело.

Они не ссорились, и это меня изумило. Они обсуждали тему, надо ли моему отцу удочерять Катю. И при этом они не ссорились! Мама считала, что надо, потому что это «дважды два». «Как это так, родная дочь, и до сих пор ты её не оформил, как полагается, по-человечески». «Эта девочка похожа на тебя! Твоя кровь. Давно пора оформить отцовство. Давно пора сказать Кате, что ты её отец. И нашим детям – тоже», – говорила мама. «Но ты ведь понимаешь, что это невозможно. Меня выгонят из партии. И потом. Я не хочу травмировать детей», – говорил отец. «Глупости, дети обрадуются, они всё поймут, они уже вполне взрослые, – сказала мама. – А насчёт партии... Подумаешь, партия. Зато у девочки будет родной отец. И ей радость, и тебе приятно. И у нас всех совесть чиста, в конце концов». – «Может, и так. Но на моей партийной карьере будет поставлен крест. И вся моя жизнь рухнет. Ты будто сама не знаешь, что меня ждёт в этом случае». – «А я тебе говорю, плевать на карьеру. Зато у Кати будет будущее нормального человека. В конце концов, ты сможешь её взять в нашу семью. Если Ритольда захочет, конечно. Да и она... Кстати... Пусть обе у нас и живут». – «Ты, однако, архивеликодушна. Скажу, наконец. Давно хотел. Ты сама этот разговор пожелала. Поэтому вот что. Твоё великодушие может происходить из одного. Нет-нет. Я не могу тебя заподозрить в христианстве, где, по словам моей покойной матери, за ближнего душу отдают. Нет, этого я в тебе не вижу. Но вижу в тебе другое... – отец выдержал паузу. – «Я вижу в тебе РАВНОДУШИЕ. Это равнодушие – КО МНЕ. Тебе безразлично, кого я люблю. Тебя или – ЕЁ. Тогда ещё, когда перед свадьбой я тебе рассказал про Ритольду, уже тогда я всё понял. Тебе было всё равно. Ты спокойно согласилась на то, чтобы я женился на тебе, а не на Ритольде. И это при том, что ты уже знала, всё знала... Да. Ты не любила меня. Ты просто вышла замуж. Просто так. Ты человек без сердца. Ты живёшь в пустоте. Я даже не могу представить, умеешь ли ты думать. У тебя пустые глаза. У тебя нет лица. Ты... Ты просто пустота!» – «А, оставь. Мне наплевать, что ты думаешь обо мне. А Катю, я уже сказала, мог бы и удочерить. Кстати. Если ты ещё перед свадьбой всё понял, что же решил-таки на мне, а не на Ритольде жениться? Почему из нас двоих выбрал не ту, которая тебя с детства любила, а меня? А я отвечу, я это хорошо понимаю, я вообще тебя хорошо понимаю. Ритольда была простой бабой без образования, обслуга. Она не блистала ни умом, ни манерами. В отличие от меня. Скажу без ложной скромности. Я блистала. И заметь, я всего добилась сама. И даже то, что выросла в детдоме, не помешало мне стать на ноги. И вот ты оказался перед выбором. Взять ту, простушку, или меня – с дипломом институтским, со знанием иностранных языков, умную, в конце концов! Не маловажны были и мои хорошие манеры, вкус к которым мне привили отнюдь не гувернантки, в детдоме вместо гувернанток тумаки и матюки, но я сама себе привила всё необходимое. Я не собиралась становиться кухаркой. Так что... Не стоит болтологией заниматься». – «Но всё же. Зачем же ты согласилась выйти за меня замуж?» – «Давай поставим точку. Я не собираюсь отчитываться ни в чём. Я давно поняла, что нельзя никому, даже мужу, открывать свою душу». – «У тебя нет души. Ты...» – «Давай поставим точку. А насчёт Кати подумай. По-моему, я тебе сказала здравую мысль».

Катя нам с Богданом – родная сестра! Я больше ничего не слышала. Мои ноги хотели танцевать и прыгать. Листья Африки качали мою голову, моя голова кружилась от радости. Я на цыпочках, босиком, с тапочками в руках, ушла. Я вырвалась в иное место, хорошо, когда в квартире много иных мест. Где можно скакать и корчить рожи, и смотреть на себя в зеркала,

которых полно по всей квартире. И быть обезьяной из Африки, с дикими ужимками радости. Катя! У меня есть сестра! Катя и я! Мы – это родное, общее, близкое. Мы – счастье. Мы – дружба.

К Кате я была настолько привязана, что если не видела её больше двух дней, начинала просить Ритольду привести Катю, скучала и ждала. Я ей рассказывала всё, что меня волновало. И хорошее, и плохое. И это весёлое, добродушное создание готово было меня слушать, доверять, она понимала меня безоговорочно, сочувствовала мне, она всегда готова была меня пожалеть. Даже если я оказывалась очень плохой. Я рассказывала ей про свои дурные поступки и мысли. А она говорила, что это случайно, а на самом деле я – хороший человек, и всё у меня будет так, как надо. Она не умела рисоваться. Она всегда поражала меня своей искренностью. Она тоже мне открывала свою душу. Мы были будто одно целое. Вот какая она, Катя. И вот теперь, самое лучшее, что можно было придумать, случилось. Мы с Катей – родные!

Услышанную новость о родстве с Катей, несмотря на весь свой восторг, я решила сохранять в глубоком секрете. «Раз папа не хочет, чтобы люди об этом знали, то я не должна подводить его». Папа был для меня авторитетом, мне не хотелось стать причиной его неприятностей. Тем более, когда дело касается партийной работы. Слово «партия» в нашей семье благодаря папе стояло на почётной высоте. Это был священный зверь, которого следовало бояться, благоговеть и ходить перед ним низко согнувшись. От КПСС можно было ждать чего угодно, если его не почитать. От него зависело благополучие папы и всей нашей семьи. Это был источник почёта, денег и залог успешного будущего. Главное, надо было уметь держать язык за зубами и делать всё так, как требует партийная дисциплина. КПСС – это чистая совесть, чистые руки, чистая репутация. А значит, если КПСС узнает, что у папы есть внебрачный ребёнок, то папу внесут в чёрный список как предателя партийной чистоты и предадут проклятию. Проклятие от КПСС – это не только конец карьеры, но и конец всего. Свет померкнет в окне, солнце упадёт за горизонт, соседи отвернутся, товарищи исчезнут, друзья возненавидят. Тайну Кати я поклялась унести с собой в могилу.

Богдана привлекало общество кроткой, тихой тёти Маши. Мария Фёдоровна Твёрдая была хорошо воспитана, образована и начитана. Она знала на память немало из Пушкина. Но ещё больше из псалтири. Из-за проблем с позвоночником она ходила с низко опущенной головой. Казалось, что ей не хочется смотреть людям в глаза из-за какой-то своей внутренней тайны. Сердце Марии Фёдоровны действительно страдало. «Сын у неё в тюрьме. Вот мать, понятно, убивается», – шла молва.

«Влюбился мой Паша, когда ему было шестнадцать лет, в учительницу. Та его старше на десять лет. Были у них тайные отношения. Я об этом не знала», – этот рассказ мы слышали каждый год, когда собирались за столом в день рождения Марии Фёдоровны.

«В день своего восемнадцатилетия повинился он передо мною, собрал вещи и ушёл к той учительнице. Валентиной её звали. Оформил с ней отношения. Работал он трактористом. А потом кто-то шепнул ему, что жена погуливает. Сомнение закралось. Решил разыграть спектакль. Сказал ей, что в командировку посылают в другое хозяйство, передовой опыт перенимать. Вернётся, значит, через неделю. Сам переночевал у меня, а на следующую ночь пошёл, крадучись, к Валентине. Под окнами встал. Слушает. А там – любовник. Вошёл он в дом. А любовник-то оказался начальником милиции. Схватил пистолет и... Убил учительницу! А убийство повесили на Пашу. Милиционер тот потом напился как свинья, нагрязнул в мою избу, запугивал, чтобы молчала. Да ещё похвастался своей смекалкой. Сказал, план был разработан. Он же милиционер с понятиями, знает, как вместо себя другого посадить. Если муж застукает, то надо сразу убивать бабу. Вот такая наука: супруг на почве ревности разделался с женой... Ну, а мой Паша, да что Паша, он ведь такой... Он ни слова в своё оправдание не сказал на суде...»

Мария Фёдоровна молчит долго-долго, возьмёт чашку, посмотрит на остывший чай, обратно на блюде вернёт. Мы перестаём пить чай, и ждём, когда можно будет снова кушать пирожные. Она вздыхает, и начинает говорить дальше.

«Как ни приду к нему на свидание, а он просит в церковь записки носить об упокоении Валентины. Говорит, снится она ему, плохо ей».

После трагедии Мария Фёдоровна рассталась с работой сельской учительницы. Она приняла решение ехать в Москву. Перед дорогой пошла на местное кладбище, постояла у могилы умершего от фронтовых ран супруга, и покинула родные места. «К Монастырскому! Надеюсь, что вспомнит меня!»

Конечно, отец вспомнил землячку. Как рассказывал потом – выйдя после работы на улицу, он заметил сторбленную женщину в сером платке, в калошах поверх ботинок. Не сразу узнал в ней учительницу из родного села. Она стояла с опущенной головой, будто прощения просила, перед крыльцом. Мария Фёдоровна изложила свою историю без утайки. Не для того, чтобы справедливость найти. Просто иначе объяснить, что случилось в её жизни, только и можно, что правду рассказать. Попросила помочь устроиться ей на работу. Мой отец пригласил Марию Фёдоровну ехать с ним. Так появилась в нашем доме вторая няня. Стала жить у нас. Выделили ей угол. Нам с Богданом тогда ещё двух лет не было.

Спустя годы Марии Фёдоровне сообщили, что в тюрьме умер её сын. От туберкулёза.

Но сын был жив. Паша совершил побег из тюрьмы, ушёл от погони. Те, кто стрелял ему в спину, чтобы не навлекать на себя неприятностей, доложили начальству, что беглец был застрелен и утонул в реке. Паша после немалых приключений в стремлении уехать на край света затерялся в далёких северных краях, встретил добрую и верную девушку. Та поверила в легенду об утерянных документах и с помощью отца (по иронии судьбы – начальника городского отделения милиции) помогла своему будущему мужу с получением паспорта. Однажды Паша приехал к нам в гости в надежде увидеть свою мать. Он приехал со своим сынишкой Володей. Мария Фёдоровна, не раздумывая, собрала вещи, и поехала с ними в зимнюю сказку – в мир северного сияния, вкусных куропаток и красивых оленей, там и осталась. Но это всё потом....

Володя

(рассказ Кати Небылицы)

/вдохновением для написания рассказа послужили события из жизни внука Мариш Фёдоровны, няни детей Монастырских, – Владимира Павловича Твёрдого/

– Волчонок. Эй.

– Катись подальше.

Так он ответил, тому, сзади. Володя знал – сейчас сможет всё. Прыгнуть через голову. Поймать пулю рукой. И когда в спину ему выстрелили, не был застигнут врасплах.

Дал свободу инстинкту. А тот уж постарался. Швырнул Володю лбом о снег, подкинул, крутанул вокруг ёлок, укрыл за древним тополем. Сорвались с деревьев сойки, вспорхнули воробьи, засуетились синицы. Прошла волна птичьего переполоха. И всё, вдруг снова тихо, только пылью льдистой сыплет лес растревоженный. Опасность, похоже, миновала? Самое время не расслабляться, а запетлять зайцем, помчаться без оглядки. Но не любит Володя это, как он считает, паскудное чувство, когда сосёт под ложечкой от страха. А поэтому лучше делать всё назло самому себе. Расправил плечи. И – вперёд. Как ни в чём не бывало. Не обернулся.

Ушёл. Широко ступая, напролом, сквозь заросли, проваливаясь в сугробы. Размахивая по обыкновению правой рукой. В левой руке саквояж. А вот в поклажу вцепился мёртвой хваткой. И когда от пули скакал, не забыл о сохранности своего груза, пальцев не разжал.

– Волчонок. Подожди... Давай договоримся.

Догнал стрелок. Фонариком сотового освещает Володе сумеречный путь. Выбрались на задубевшую тропу. Этот сзади, не отстаёт, след в след, сопит. Превратился в собаку. Виляет хвостом. Лебезит. Тьфу.

Знает Володя этого парня уже лет пять. Вот в этом самом лесу, в морозную ночь, когда возвращался после очередной удачи домой, наткнулся на человека под ёлкой. Стал тормозить. Оказалось, не пьяный. Подрезанный. С братвой поцапался. Володя бросать в беде людей не умеет. У него на всю жизнь в сердце – пример отца, как тот пошёл невинным в тюрьму. Не стал оправдываться. Терпел свою долю и Богу молился. У Володи закипает в сердце, когда вспоминает жизнь своего бати. Жалко его до слёз. Отец и бабушка – справедливые люди. Правда для них на первом месте. А в чём правда, как не в сострадании к людям? Это ли не правда, думает Володя. Как людей не жалеть, люди они и есть люди. Все одинаковые, и всех одинаково жалко.

И хороших, и плохих. Эх, беда, а не жизнь. Не хочет ведь ни один человек плохим быть. А почему же у многих-то наоборот получается... А он сам, Володя, хороший ли? Да уж... Куда там...

Выхаживал Володя бедолажного у себя дома больше месяца. Пригрелся, привык, уходить не хотел. Но пришлось. Женился ведь Володя. Замаячила перед ним полноценная жизнь. Возмечтал зажить, наконец, как все, без приключений. Да куда там. Сколько волка ни корми... Разве что пацаны в квартире перестали ночлежку устраивать. А Серый запомнил благодетеля, притёрся, хвостом всюду как брат родной. Впрочем, брат братом, а всякое бывало. И до лупцовок доходило. Завидовал Серый чужому везению, путался у всех под ногами, никто его серьёз не воспринимал – недотёпа. Жена к другому ушла, родители на погосте. К работе, как он всем объясняет, неспособен по слабоумию. Благо, жить где есть, домишка покосившийся в наследство от бабки перешёл. Оставалось канючить у Волчонка, засматриваться, как деньги тому в руки идут. Но чтобы до стрельбы... Нет, такой концерт впервые.

Противно Володе, когда в спину.

Сказал, раздвигая перед собой еловые лапы:

– Серый, я тебе что, ствол подарил для этого?

Снег посыпался на лицо им обоим. Серый сзади заголосил:

– А ты забери, забери его! На... А мне... Нарезь от сегодняшнего!

Володя остановился, поглядел через плечо вниз, на тусклого, дрожащего, неприятного своей трусостью. А пистолет взял, чего уж. Умному во спасение, а дураку – во искушение. Спрятал в карман куртки.

– Ну? И сколько ты хочешь? – сказал бесстрастным голосом. Не в его правилах презирать подлого за подлость, трусливого за трусость. И тем более глупого за глупость. Что тут поделаешь. Они не умеют прыгать через голову.

– Хотя бы половину.

– А что ж так мало? Почему сразу не всё?

– Ну, пожалуйста. Куда тебе столько. Лопнешь.

– Может, ещё чего хочешь?

Молчит. Ну, пёс побитый. Лицо скривил, ещё соплей не хватало.

– Ладно. Не кисни. Пошли.

– Так что? Простил? Ведь я чуть не убил тебя.

– Заткнись лучше.

А вот и знакомый овражек. Мостик дощатый пружинит под ногами. Опушка леса. Гиблые места. Не любят сюда люди ходить. Говорят, нечисто, с тех самых пор, когда закуражились по стране девяностые, с цепями золотыми на бычьих шеях, с пальцами растопыренными в перстнях. Съезжалось за город в ту пору столько разудалого народа, ой-ё-ёй... Вплетались в птичьи трели вопли человеческие, стучали наперегонки с дождями очереди автоматные. Стукни по земле, копни под берёзами – забренчат кости, зацокают зубы, взлетят призраки. Старухи болтают, будто бродят в этих краях души тех, кого так и не предали земле по церковным канонам, ищут своих губителей.

Закурили. Накрыло всё вокруг шумом электрички. Залаяли собаки. Снова тихо. Лес пощёлкивает сухими ветками, снег искрится под звёздами. С пригорка далеко видно. Как на ладони, до горизонта, город в огнях. Манит весёлой жизнью удачливых, сулит широкий путь тем, у кого карманы от денег рвутся. Вдруг что-то дрогнуло в поднебесье, напряглось, прорвало тишину, как ледоход на реке, поплыло шумами, звонами, поразило, как всегда это бывает с Володей, в самую душу чем-то таким щемящим, таким надсадным, разбередило сердце, как ножом. Ну, будь бабой, ей-ей, не удержался, заплакал бы. А и сам не знает, чего так с ним, когда звон колокольный слышит.

Володя посмотрел на своего убийцу, тот моргал, смотрел заискивающе. Отвернулся:

– Идём, свечи Богу поставим. А всё остальное потом.

Серый с готовностью поддакнул, закивал.

– Слышь, Волчонок. А тебя кто учил в Бога веровать, свечи ставить? Не сам же, а?

– Не сам. Это точно.

– Ну?

– Ну через ну. Бабушка моя, кто же ещё. Бабушка Маша. В Бога веровала. Читала мне святые книги. Грамоте учила по псалтири, когда мне ещё и пяти не было. А сама она в молодости учительницей сельской работала. А потом служила в Москве домработницей в семье какого-то партийного шишки. Интересно, что этот партийный шишка потом сам в Бога уверовал, даже в монахи собирался поступать, да чекисты его грохнули. Вот так.

– Служба закончилась. Уже и колокола пробили, слышали? Спаси Господи! А вы завтра приходите, – сторож защёлкнул замок на калитке. Доброжелательно посмотрел на незнакомцев. Перекрестился. Надел варежки.

– Отец, тогда вот что. Завтра поставь толстые свечи за нас. А остальное на храм в кружку, – выгреб Володя на ощупь из саквояжа столько, сколько в кулак вместилось, шелухи этой, будь она не ладна. Перехватил жадный взгляд Серого. Просунул между железными прутьями забора.

– А имена? Я и записку подам.

– Бог и так всех знает. Ему подсказки не нужны.

Когда дошли до метро, Володя придержал свободной рукой попутчика. Оглядел безлюдную площадь, прищурился на прохаживающегося вдали полицейского. Взглянул на тревожное лицо товарища, подмигнул, поднял палец и грохнул об асфальт свою ношу:

– Не парься. Хавай целиком. Гуляй, душа.

– Не понял... Ты чё?!

– Хотя, нет. Семью обижать нельзя.

Клацнули замочки, разверзлось дно адово, вот оно, счастье залётное, тьма радостей земных. Лежат рядками, мнутя кучками, напирают друг на дружку. Усмехнулся Володя, выудил двумя пальцами, как пинцетом, две, стянутые бумажными лентами, пачки банкнот.

Отпихнул от себя носом сапога саквояж, указал глазами:

– Остальное тебе.

Вечером сидел дома, сына на ноге качал. Улыбался. Молчал. Смотрел на жену. Та, как обычно, по дому, в суете. Стирка, посуда. А он, вот, сына, пошёл, уложил. Спит, чмокает.

– Миш. Всё хорошо у тебя? – жена приоткрыла дверь, голову в детскую просунула. В кудряшках, красивая.

– Да.

Ушла. Успокоилась.

Он подошёл к окну. Что там, за окном, какая красота зимняя, какие узоры плетёт морозец на стёклах, не видел. Сжал голову руками. В висках застучало. Сегодня он сорвал банк. Баснословная сумма. Это тебе не чики-пики. Мелочёвкой баловаться – это всегда-пожалуйста. Просадить состояние – тоже никто препятствовать не станет. А вот взрослый понт... Это уже для избранных. Да и то со скрипом. Тут, в этом местном коdle, куда прибило Володю, по его собственному выражению, «штормовой волной», десять лет назад, свой устав. Ослушаться? Если жизнь надоела – тогда можно и послушаться. Завтра обступят, злыдни. Будут, как шакалы, зубами стучать. Требовать отыграться. С такой удачей разве могут отпустить. Сделают всё, чтобы загнать в угол. Значит, до завтра... Он посмотрел на сына. Лёг рядом с кроваткой, на пол. Под голову подсунил одну из разбросанных на детском коврике мягких зверушек. Свернулся калачиком. Уснул. Снов не видел. Жена укрыла пледом, ушла на цыпочках.

Спал долго. Комната уже дневным светом залита. Слышал, как сквозь вату, сынуля танчики по его, папкиной спине, катал. Натаха не мешала. Знала, муж любит, когда сын рядом. И спал, спал, высыпался, плыл в омуте. Открыл, наконец, глаза. Первое, что вспомнил, про выигрыш. Какая тишина была, когда сгребал, сгребал, утрамбовывал... Странно, до сих пор ни гу-гу. Поглядел на мобильный. А, разрядился.

Позвонил Вялый. Процедил:

– Так что делать будем, братан?

– После ужина подтянусь.

– Ну-ну...

До вечера время ещё есть. С сыном гулял. Половики вытряхивал, снегом чистил. В магазин бегал. Полы вымыл. Натаха довольная, ох, не могу. Ну, лапа ты моя, ох, лапа... Прижал, поглядел в глаза. Красивая. Отпустил. Вдохнул. Ушёл на балкон курить. Смотрел на людей. Сверху-то какие все маленькие, слабенькие.

Жена борща наварила. По случаю мужниной премии – с мясом.

Вечер так незаметно, а всё же подкрался.

- Ну что, лапа, Натаха ты моя, почапал я, значит...
- А что так? Ты ж вчера отдежурил? Или за кого-то?
- Да. Попросили. Товарищ один там заболел. Подменить требуется.

Первую дверь тихо прикрыл, чтобы сын не сообразил, что папка ушёл. Медлил перед второй дверью, прислушивался. Сынишка на велике трёхколёсном по комнатам мотается. Натаха напевает. Закрыв и вторую дверь, ключи покрутил в руках, огляделся. Задержал взгляд на пыльной коляске в углу, возле мусоропровода. Расставаться с ней жена не хочет. Выпрашивает у Бога второго малыша. Улыбнулся. Ключи в карман коляски спрятал.

Вот и всё, песня спета?

Перед лифтом столкнулся с образиной. Глаза катятся, никак не выкатятся. Нос выскочил между щёк, как пень посреди поляны, бежит, бежит, никак не достанет то, что тянет душу, зазывает, обещает. Кепка козырьком к уху съехала. Побитое молью старомодное пальто с цигейковым воротником коробится, нараспашку, вместо двух нижних пуговиц – ключья ниток. Шарф вонючий вокруг шеи.

- Чего припёрся? Так тебе вчера подфартило, и до сих пор без перегара?
- Фу. Успел. Я того... Я с тобой.
- Хм... А что не позвонил? Или дрейфишь, как всегда?

Говорить на эту тему с Серым – дело безнадёжное. Тот готов под дверью своего кормильца до утра мочалиться, лишь бы не торкать безнужный, подаренный ему Волчонком, мобильный телефон. Кажется Серому, по причине хронической забитости, что по телефону его отфутболят, и если не пошлют на всякие гнилые буквы, то попросят перезвонить в другое время. А при личной встрече всё иначе. Тем более с таким отходчивым сердцем, как у Волчонка.

- Вот, чемодальник твой. На.
- А. Ну-ну. А бабло что, уже попрятал? На бабкином огороде клад зарыл?
- При мне. Вот, видишь, какой я толстый. Весь в бабле.
- Да не в бабле ты, а в дерьме. Ох, не могу. Застегнись хотя бы.
- Слушай, Волчонок. Я тут тебе одну вещь сказать хотел.
- Да ты в лифт зайди, там уже будешь лясы точить.

В лифте Серый посмотрел глазами побитой собаки на Волчонка. На колени сполз. Лицо кривит, кривит, ну, ядрёна вошь.

- Я по гроб твой должник. Меня убить надо было. А ты...
Захлопал-таки.

Ох, малой, сволочь бесприютная, ну что с тобой делать...

На улице снег на скрипке играет. Молодёжь стайками парит, радуется своему юному бессмертию. Мальчишки девчонок за талию влекут – хорошо, если под венец. Небоскрёбы звучат, сверкают, салютуют иллюминацией. Люди смеются. Телевизоры бубнят. Музыка какофонит. Аромат выпечки, стуки тарелок, дети пищат. Вот в такие снежные вечера Володе вспоминается бабушка Маша. Как вела его по скрипучему сверкающему снегу в церковь, на праздник святого Николая. Эх-хо... Что там, дальше?

Малой посматривает сбоку, взгляд заискивающий. Уважает. Ну что, пусть уважает. Правда, за что?

- Волчонок, хочешь, я тебе того, тачку куплю. Вот. Ей-богу, куплю. Хочешь?
- Знаешь, паря, когда хотят что-то сделать, такое, стоящее, то не спрашивают. Понял?
- Не поверил, значит.
- Да не купишь ты ничего. Кишка тонка. А когда кишка тонка, тогда спрашивать начинают. Ну, вот как ты.
- Да. Кишка... А, тьфу. Правильно всё, ну чего врать. Не смогу. А если куплю, то потом ведь жалеть стану, да?

– Во-во. Жаба-то, она, тут как тут, задавит, и глазом моргнуть не успеешь. Да ты ведь знаешь, к тому же, что не нужна мне тачка. Чтобы в пробках торчать? Вот сынуля вырастет, тогда и поговорим, шофёром моим будешь. Нас с сыном возить на рыбалку, по ягоды...

Он остановился. Смерил коротышку взглядом. Тот голову задрал, смотрит с обычным испугом.

– Послушай, Серый. Ты что, уважаешь меня, что ли?

– Ещё бы!

– А за что меня уважать-то?

– Ты сильный.

– Был бы я сильным, давно бросил эту чёртову игру, на работу устроился, жену перестал обманывать. А не могу! Я раб игры. Так какой же я сильный? Поэтому не уважай меня больше. Очень тебя прошу. Понял?

– Да. Но зато как красиво ты стрижёшь!

– Ядрёна вошь. Это гибель, а не красота. Тут надо, если уж завязать духу не хватает, хотя бы меру блюсти. Так что, братишка, как ни крути, а их, сволочей, табу на крупный хабар кому как, а лично для меня – самое то. Как для пьяницы строгая тёща.

Серый смотрит, глаза пустые, не понимает он такой теории. Но насторожился – не к добру, видать, дело движется, если немногословного Волчонка на философию потянуло.

Тени прыгают чертями по сугробам. Луна круглая-прекруглая. Ну, как живот когда-то у Натахи. Володя прижимался ухом, хотел сына услышать. А Натаха смеялась, гладила мужа по голове. Лапа моя...

Мороз, жуть, дыхание перехватывает. А, вон, впереди, стая. Глаза горят. Шакалы. Ждут. И мороз им нипочём, ишь, как их припекло. Молчат. Огоньки недокурных сигарет погасли в снегу. Дверь открыли, тепло, разговоры, люди, все при деле. Шлёпаются карты, тусуется колода. Пики, бубны, трефы, судьба-малина, где ты... Сейчас... Эх, валеты-короли-тузы-тузетки, горькие конфеточки, поманили, одарили, закрутили на беду, и никак я, и никак я от беды не отойду...

Володя знает, что будет. Тринька, тля, бедовая, жизнь моя хреновая...

Серый за спиной. Ненависть, как дым чумной, – коромыслом. Впились глазами в Волчонка. Ждут, ненавидят, боятся. Злые, шайтаны. Ох-ха-ха. Раззудись, плечо, размахнись, рука... Как там, с батей, пели, когда шли косить в поле? Батя – впереди, плечи широкие, спина могучая. С таким батей Мишке было как у Христа за пазухой. Зажужжи, коса, как пчелиный рой! Молоньей, коса, засверкай кругом! Зашуми, трава, подкошонная, поклонись, цветы, головой к земле!

И вот, коса на камень. Нашло на Волчонка. Как бешеный стал. Аж скрипнул зубами. Лицо красное. Стянул с себя свитер, на руки Серому кинул. Футболка взмокла. А ну-ка, накося выкуси, выкинем коленце, семь бед, один ответ. Поддадим жару! Хороша банька! Я ж их всех насквозь вижу. Скручу в бараний рог. Покажу кузькину мать. Нет у них силы. Такой, какой у Волчонка. Вот и бесятся. Не по зубам.

Молчат. Злые-презлые. Один другого подталкивают, глазами стреляют: снова Волчара с хабаром, что делать будем? Да что-что. Разберёмся.

На воздух сейчас выйдем. Там и решим вопрос.

Машин полный двор. Далеко-далеко тёмное небо прогудит электричкой, и снова тихо-тихо. Штрихи снежинок по лицу. Лес подступает.

Идут деревья-исполины, растут широко, привольно, смотрят свысока на суету человеческую. Собаки из посёлка дачного перегавкиваются.

Молчат пацаны, курят. Волчонок один не курит, руки в карманы куртки засунул, так теплее. Смотрит вдаль, туда, где луна круглая-круглая, совсем родная. И такая ясная, как взгляд сына.

– Так что дальше, братан? – Вялый переглянулся со сворой.

– А ты о чём, Вялый? Я тебе что-то должен?

– Не гони, Волчара. Ты всех нас обижаешь такими вопросами. Рубишь как бог. Этого не отнимешь. Ну, а где Бог, там и подавание хорошо бы замутить. По заповедям, а? Ты же не бажбан, значит, всё тебе по мозгам идёт нормально. Подать обнищавшим сотоварищам милостыньку. А?

– И сколько?

– А всё. И сегодняшнее, и вчерашнее, Волчара. На благотворительных началах, Волчара. Ты, говорят, с самим Господом Богом корешиться хочешь. Так покажи, на что способен тот, кто в дружбаны к Богу набивается. Широту души, так сказать. Ты ж у нас широкий. А, Волчара?

– Вот как... Нечестно вроде получается, граждане разбойники. Не кажется ли вам, что это беспредел?

– Уж такие мы. Сами с усами. Так, всё, проехали. Без базаров. Сказано, гони. Всё остальное жене в постели прозвездишь.

– Сегодняшнее, может, и отдам. А вчерашнего уже нет. Потерял.

– Ты, братан, гляжу, совсем засадил фуфлю. Вот так зачухованные в расход идут. Поэтому, слушай сюда. Мы ещё ровно одну минуту пока по-хорошему с тобою тут базарим. Давай, значит, бабло, до последнего гроша давай сюда, или не только тебе тузов надаём, брат, а зацепим, ой зацепим. И до твоего золотаря доберёмся. На чьей хате затырил, колись.

Цыкает Вялый слюной, ощеривает вставные зубы, щурит подбитый в драчке большой глаз, стучит по брусчатке стилиажным ботинком. Свора насупилась, тут не казалась-мазала. И это могли бы подтвердить те хорохористые братья-близнецы, несмышлёныши, что сгнули несколько лет назад. По сей день ищут их. Тоже всё себе цену набивали, то банк сорвут, то в потасовку со своими ввяжутся, а потом и вообще буром против Вялого поперли, верховодить им вздумалось... А ведь говорил им Вялый, чтобы баланду не разводили.

Поглядел Володя поверх голов. Серый жмётся за машинами, глаза в сторону. Ох, трусы ты, заяц вислоухий, пёс драный.

Бросил Володя саквояж на клумбу мёрзлую, вскипел ледяшками тротуар.

– Дарю на долгую память. Пересчитывайте.

А саквояж хороший, из кожи крокодиловой. Купил его Володя давно, когда осчастливила судьба первым везением. Ходил с саквояжем на свои шальные заработки как профессор на лекции. А теперь вот, валяется. Ну, туда ему и дорога. Пнул напоследок. Чао, братва.

– Ты погоду, куда почесал, братан.

Уходит. Не спешит. А куда спешить, лес вон рядом, места много, и времени впереди целая жизнь. До самого неба. А на небе – звёзды святые, в рай зовут. Куда спешить-то. А когда сын вырастет, тогда можно будет и на машине по грибы, по ягоды. Как с батей, в детстве. Раззудись, плечо, размахнись, рука...

А что ж ты, хорёк страшливый, жмёшься, что ж душонка твоя трепещет как лист осиновый... Эх, слаб человечешко, слаб, дрожит в коленках, боится собственной тени. Идёт вразвалку Володя, руки в карманах, поглядывает на Серого. Тот прячет глаза. Прошёл Володя мимо.

Слышатся шаги сзади. Кто там по мою душу? Ужели так быстро? Не оборачивается.

Вот шум какой-то... Голоса...

Ушёл Володя. Никто не тронул.

Догнал его тот, бздошный... Смеётся, плачет, трясётся... Бормочет что-то.

– Ну чего ты?

– Да я, того, Волчонок. Бабло твоё как жалко, ой как жалко.

– Велика беда. Было и сплыло. Дерьмо оно и есть дерьмо. Зато, вон, какое небо нам Бог подарил... Эх-хо. А человек как крот, всё носом в землю, кряхтит, шкворчит. А я вот, знаешь,

что... Последний день это в моей жизни, когда в игру ввязался. Всё, Серый! Точка, Серый! Прыгну-ка я теперь через голову. Но в другую сторону. Завтра на работу пойду устраиваться.

– Шутишь, Волчонок!?

Серый идти не может, ноги подкосились. Смотрит напряжённо на Волчонка. Ищет в его глазах улыбку. Страшно Серому за себя, не у кого теперь будет подачки кланчить. Хочется разглядеть в лице приятеля хоть самую малую долю хитрости, уловить тень позёрства. А тот, вот досада, смотрит прямо. Говорит без подвоха. Сказал – отрезал:

– Памятью бати клянусь.

– А как же я, Волчонок?

– Так куда ж я от тебя денусь. С собой возьму. Как любил говорить мой батя, хватит служить за козла на конюшне. Будешь у меня в подручных.

– Какой из меня инженер, шутишь?

– А из меня? Неужели, думаешь, меня в инженерах ждут с цветами и оркестром? Квалификация моя давно тю-тю... В грузчики осталось, больше некуда. Ну, там... Или в сторожа. Куда Бог сподобит. Объявлений вон, ядрёна вошь, на каждом столбе. Все как сговорились, одно и то же, из месяца в месяц. Плешь проели, со своими объявлениями.

– Да не сможешь ты, сам говорил, раб игры. Сбежишь.

– А ты не заклинай. Был рабом игры – а стал рабом Божьим. Я Богу честное слово дал.

– Чего ещё?

– Богу, говорю, дал честное слово.

– Когда ещё? – обида в голосе у Серого. Обидно ему, а почему, сам не может понять.

– Когда шакальё меня окружило. А я, Серый, смотрю на них, и понимаю, что умирать-то, ядрёна вошь, глупо. Сына не вырастил, ядрёна вошь. Дерево не посадил, ядрёна вошь. Дом не построил, ядрёна вошь. Это тебе не набор банальностей. И дал я тогда, в ту самую минуту, Богу честное слово, что если жить останусь, не сяду больше никогда за игру. Так что вот так. Слово надо держать. А Он, если от смерти уберёт, то и дальше подсобит, перекроет мне пути к отступлению.

– А батя твой? Он что, тоже играл?

Серому льстит откровенность Волчонка, не склонного в обычные минуты ни к задушевным беседам, ни к воспоминаниям. Столько лет бегаёт за Волчонком, а знал до сих пор только то, что покровитель его – несостоявшийся инженер, с мозгами гения и дьявольским чутьём в игре. И пока Волчонок в таком редком настроении, хочется потянуть время.

– С чего ты взял? Наоборот, батя мой был человек кремень. От сохи.

– Неужто мамка играла?

– Дурак ты. Матушка моя во время родов скончалась. Батя меня вынянчил, вырастил, корову сам доил. Ради этого перебрался в село, в более тёплые края, чтобы корову держать. В поле меня с собой брал. Бабушка из Москвы переехала к нам, жили славно. А когда поступать в институт время пришло, продал и дом, и скотину. Купил батя в городе квартиру. Всё ради того, чтобы сына в люди вывести. Думал, цивилизация, прогресс... А оказалось, городская свобода после деревенского быта может сыграть шутку хуже опиума.

Володя помолчал. Прислушался. Тихо вокруг, хорошо, спокойно. Залит тёмный лес лунным светом, блестит снег.

– В общем, из-за меня, можно сказать, на тот свет ушёл батя. Девчонка у меня была в институте. От неё батя и узнал, что сын его, Вовка, в игроки подался. А я на ту пору как раз в курс дела входил. К рулетке приглядывался, к картёжникам захаживал. Учился. А когда просёк, что талант у меня, то и пошло-поехало. Лёгкие деньги, бляха-муха, развращают. Хорошо, бабушка уже в царствие небесное переселилась к тому времени, не видела, какая беда внука одолела.

– А девчонка?

– Что девчонка. Она меня пилила-пилила, а когда поняла, что даже через отца не получается образумить, то и бросила меня по совету своей матери, от греха подальше. И правильно сделала.

– А батя?

– А батя переживал, увещевал меня. А потом инфаркт.

Поплыли огни по трассе. Засигналили внедорожники протяжно, будто на свадьбу зовут. Притормозили.

– Эй, братаны. Чего ползёте? Подвезём, ройте сюда.

Серый испуганно закрутил головой, замигал глазами.

– Да нет, пешком мы!

Володя кинул взгляд на товарища. Ничего не сказал. Руки в карманы поглубже засунул, в каждом кармане – пистолет, пошёл, проваливаясь в сугробы, к джипу. И уже издали махнул Серому:

– Давай, чего там. Где наша не пропадала.

– Нет, я пешком. До метро рукой подать.

– Ну как хошь. Ядрёна вошь. А завтра, кровь из носа, чтобы в семь утра у меня был. На работу пойдём. Чего молчишь?

– Да буду, буду, чего привязался.

Сел Серый в снег, плачет. Смотрит вслед Волчонку, слёзы лицо шиплют, а он улыбается и плачет. А отчего улыбается, не знает. А почему плачет, тоже не знает.

Запел Волчонок хрипло, под Высоцкого:

– Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак... Ох вы мускулы стальные, пальцы крепкие мои...

Выбрался на дорогу. Постучал ногами, не вынимая рук из карманов, снег стряхнул.

Поехали.

В салоне тепло. Одеколони пахнут. Музыка шепчет. Пацаны отдыхают.

– Так что, Волчок? Не ожидал такого разворота? Мы и сами офонарели. Удивил, однако, недоношенный.

– Ты о чём?

– А, так ты не в курсах. Серый у нас святой, оказывается. За тебя вторую половину бабла отдал. Малость, правда, не хватило для круглого счёта, да хрен с ним. Тебе, братан, повезло. Да и нам тоже, – Вялый хохотнул.

Конец рассказа

Мария Фёдоровна

При себе Мария Фёдоровна Твёрдая имела чемоданчик, где лежали её главные сокровища – святые книги с иконами. По тем временам чемоданчик был на вес золота. Мария Фёдоровна обогащала нас знаниями о небожителях.

Марии Фёдоровне разрешалось начинать день с церковной службы. В храм тётя Маша обычно ходила по воскресным и праздничным дням. Из храма она приносила Кате, Богдану и мне пересказы церковных проповедей.

Слышу знакомый голос, няня держит вязаные чётки, сидит на маленькой скамейке. Мы, тринадцатилетние, рядом, молчим. За окном уже темно, в комнате сумрачно. Мы не зажигаем свет, нам хорошо. Шторы открыты, и в окнах стоит огромная яркая луна. В углу блестят игрушки на новогодней ёлке. Позавчера отпраздновали Новый 1971 год. Остаётся несколько дней до Рождества Христова. Но советские дети не знают такого праздника. Зато о Рождестве знает няня.

Она, как и Ритольда – Катина мама, говорила с нами на равных, но, в отличие от Ритольды, на иные темы. Жизнь Марии Фёдоровны была посвящена Богу. Она жила в Боге, и все её воздыхания были устремлены на небо. Именно к Богу она старалась направить наши мысли и чувства. Та предрождественская беседа запала в душу, до сих пор я слышу знакомый голос тёти Маши, интонации, слова... Катя и Богдан, как и я, так же внимательны.

Богдан задавал вопросы. Я искоса поглядывала на него. Мне было неприятно, что он и тут меня обходит. Когда у няни с Богданом завязывались заинтересованные диалоги, я чувствовала себя лишней. Я злилась и уходила, делая вид, что это скучно. Но я оставалась под дверью и продолжала слушать.

Вот и на этот раз, перед Рождеством, большую часть разговора я слушала за приоткрытой дверью, сидя на полу. В доме кроме нас никого не было. Мама снова в санатории, папа – в командировке.

– ...наши проблемы все в том, что мы живем или будущим, или прошлым, и не видим радостей сегодняшнего дня, мы переживаем проблемы мирские, размышляем над тем, что нас толкнули в трамвае и мы ответили, и мы думаем о том, а зачем мы ответили, а если не ответили, то думаем, а зачем мы не ответили, но на самом деле все это пустота, суета. И мы живем этой суетой, поддаемся эмоциям, которые заслоняют от нас вечность, заслоняют Христа.

– А раньше людям никто не заслонял Христа, тётя Маша? – спросил Богдан.

– Всё это было и в прошлые века, так же шёл дождь, или так же засыхала земля, так же кто-то завидовал другому, и из-за этого возникали разногласия.

– Но почему так?

– Потому что суета правила и правит миром, суета правит людьми, а истина уходит мимо, жизнь проходит мимо, вот уже двадцать лет прошло, вот уже пятьдесят лет прошло, и ничего в ней не осталось такого, что мы сможем представить на суд Божий, что сможем сказать: вот, Господи, я был верен Тебе. Жизнь наша мгновенна, и она горит и сгорает как свеча. Но мы всё никак не можем опомниться, всё откладываем на потом то, что нам кажется не столь нужным сейчас. Пусть Господь и молитва подождут, а нам важнее предаваться своим радостям мирским, своей суете.

Няня молчит.

Богдан и Катя теребят её:

– Тётя Маша, не молчи. Говори, говори ещё!

– Мы не осознаём, что в мире совершилось величайшее событие, перевернувшее всё бытие человечества, это Рождество Христово. На землю пришёл Господь, и это не имеет вре-

менных границ и рамок. Это всё – сейчас, с нами. Но мы того не чувствуем, не ценим, не радуемся приближающемуся великому Празднику из Праздников. Мы живём своим, оно нам кажется важнее. А Господь ради каждого из нас принял на себя наши грехи, понёс их, был распят, пострадал за нас. Но нам не до того. Мы не скорбим, и не плачем, не радуемся и не заботимся ни о чём, что имеет отношение к нашему Творцу, который ежедневно и ежеминутно печётся о нас.

Тётя Маша повышает голос. Я представляю тётю Машу над городом. Люди проснулись. Подняли головы. Смотрят на тётю Машу. Она говорит им строго, серьёзно – так, как учитель в школе ругает за пропущенные уроки.

– Многие и очень многие не могут найти двух часов в неделю, чтобы прийти в церковь, поклониться Богу, чтобы оторвать себя, наконец, от тех сладостей и яств, и понести на какое-то время пост и покаяние ради Создателя своего. Для нас это второстепенное. Мы в мыслях как бы отмахиваемся от Господа, говорим ему: подожди, Боже, нам не до Тебя, у нас столько своих проблем, столько дел. И не потому ли мы болеем и отягощаемся всё большими проблемами и тяжестью душевной, что живём по сути без Бога, вне Бога. А кто-то лишь на словах признаёт Его, но не на деле.

– Тётя Маша, как всё хорошо вы говорите! – восклицает Катя.

– Почему детей не отягощают проблемы? Потому что всё возлагают на своих родителей, дети знают, что они – под защитой родителей. Но ведь и будучи взрослыми – люди всё равно остаются детьми. Мы – дети Божии, у нас есть Отец Небесный, но мы забыли о Нём, мы забываем полагаться во всём на Него и просить Его помощи. Когда говорим: Боже, помоги, – одновременно полагаемся всё же на самих себя, это и есть маловерие. Оно пронизало нашу жизнь во всём.

– А от чего это самое маловерие? – спрашивает Богдан.

– Маловерие от того, что мы не знаем по-настоящему Бога. А тот, кто говорит, что знает, пусть сначала проверит, живёт ли он по заповедям Христа, хранит ли Ему верность, любит ли Его своими делами, своей жизнью, а не только словами и умом. Да, мы лишь умом молимся, просим, проговариваем молитву, но сердце остаётся занятым собственной житейской суетой. И отсюда та тяжесть постоянная, та забота сразу обо всём и ни о чём, она гложет и съедает. И всё время находится причина для тех или иных беспокойств. Но проходит время, и проходит оно стремительно, и спустя годы оказывается, что всё было пустым. И наши обиды, и наши стремления оказались на самом деле миражом. Мы прожили жизнь без Радости о Господе. Вот горькое осознание, вот истина.

– Но ведь человек должен бороться! – воскликнул Богдан.

– Да. Надо бороться. Пока ещё есть время. Есть сегодняшний день.

Глава 6: Праздник революции!

Шумно в доме. Праздник революции! Папа с мамой снуют по квартире, перекрикиваются между собой оживлённо. Непонятно, чем они заняты, но их силуэты то и дело мелькают в разных уголках квартиры. Вот проплыло куда-то кресло, вот запыхтел диван, его понадобилось вдруг двигать зачем-то. Оказывается, ищут мамину «брошку огромных денег». Под диваном её нет, но там находят пыль, и Мария Фёдоровна хватается за новую работу. Мама кричит, и все в квартире вздрагивают. Богдан выглядывает из своей комнаты, на лице у него остатки поэтического вдохновения. Мама снова кричит. И все облегчённо вздыхают: нашлась брошка. У меня в комнате включён магнитофон, гремит «Битлз». Мария Фёдоровна шевелит губами под «Битлз» и тряпка в её руках мелькает как смычок в руках дирижёра. Может показаться, что няня тихонько подпевает. Но это лишь мне так кажется. На самом деле Мария Фёдоровна шепчет иное. Если сейчас выключить магнитофон, то в комнате останется «Господи, помилуй мя...» Стёкла, серванты, посуда, паркет, мебель – всё давно чистое, но няня находит новые пятнышки и пылинки. Ритольда на кухне. Она озабочена, строга, сосредоточена на кастрюлях и сковородках, на пирогах и салатах. В такие пиковые часы у Ритольды вырастают крылья и много-много рук, и ей нет дела до всего остального в квартире, даже до нас с Богданом.

Мы ждём гостей. Любимое мною время, будет много людей, весёлых лиц, разговоры. Все будут смотреть на меня и моё новое, блестящее платье. У меня впервые открытый наряд, и я буду видеть интерес в глазах мужчин. Меня уже волнуют мужчины. Я знаю, что моя красота их тоже волнует. От этого я ощущаю какую-то ненормальную, дикую радость, я часто бегаю к зеркалу, люблюсь на себя.

Богдан не принимает участие в семейных хлопотах. Он, как всегда, задумчив, он любит уединение, и в его комнате особая таинственная атмосфера. Здесь мне хочется говорить шёпотом. Я вижу, как сосредоточенно он что-то пишет, не обращая внимания на мои шаги. Я хочу, чтобы он, наконец, обратил на меня внимание, и специально кашляю. Он смотрит на меня, потом встаёт и задёргивает шторы. Я больше не вижу своего отражения в стекле.

– Ты хочешь, чтобы я похвалил твоё нескромное платье? – говорит Богдан. – Но как можно хвалить то, что бесстыдно?

– О, Богдан. Ты как всегда. Скучно.

– Послушай, Вера. Нам с тобой через два года получать паспорт. Я, как и ты, тоже считаю себя взрослым. Но, извини, не настолько, чтобы...

Богдан замолчал. Ему трудно говорить на **такие** темы. Он не любит говорить об **этом**. Он знает, что со мной никогда и никто не вёл подобных бесед. В нашей семье все жили обособленно. Каждый – в своём отдельном мире, вход в который посторонним был воспрещён. Мама благодаря отцовскому статусу крупного партийного работника имела возможность не работать и вся её жизнь состояла из поездок в санатории. Папа тем более был для нас закрытым человеком, занятым, молчаливым, с утра и до позднего вечера на работе. А когда оба родителя оказывались на какое-то время одновременно дома, начинались званые обеды и ужины, чему я радовалась.

Я знала привычки папиных товарищей – Пётр Евгеньевич любит горячие блины, а Николай Петрович обожает холодное пиво. У Михаила Викторовича была страсть к конфетам, он и для нас с Богданом приносил красивые коробки, перевитые атласными ленточками. Андрей Анатольевич питал слабость к породистым собакам, иногда с ним приходила овчарка Гарри.

Среди гостей выделялись супруги Беломедовы. Ким Георгиевич был управляющим строительно-монтажным трестом, и для нашей семьи представлял особый интерес. Это мне было известно из подслушанных разговоров родителей. «Что бы мы делали без Кима Георгие-

вича», – говорила мама, когда от Беломедовых к нам по просьбе моего папы приезжала очередная бригада строителей и «спасала положение» (выражение мамы).

Семейство Беломедовых удивляло, однако, лично меня не строительными возможностями, а воспитательной системой в отношении их единственной дочери Нины, моей ровесницы. Беломедовы опекали Нину так, будто это был новорождённый младенец, и пылали надеждой в будущем породниться с нашей семьёй. Богдана они считали наиболее подходящей партией для своей дочери. Сама Нина была готова выполнять все требования родителей, она поражала меня своей наивностью. Богдан относился к подобным планам семьи Беломедовых без эмоций. (Забегая наперёд, скажу, что лишь годы спустя, когда наш Богдан уже принял монашеский постриг и священнический сан, Беломедовы окончательно успокоились.)

Из-за своей наивности Нина Беломедова попадала в «истории». Она умела хорошо говорить по-французски, любила посещать театры. Как-то один из приглашённых в дом на сватовство кавалеров решил подшутить над Ниной и поинтересовался, «а трахалась ли она в своей жизни?» Нина честно сказала – да: «Подобное невозможно забыть. Было ощущение, словно меня пронзили насквозь. Такой силы удар. Отдалось и в голове, и в рёбрах, показалось, глаза на лоб вылезут, а я лопну от боли. Родители утешали: до свадьбы заживёт». Нина так и не поняла, чем так удивила своего собеседника. Ну, была на практике в колхозе, с другими студентами мединститута убирала с полей картошку. Ну, упала с борта тракторного прицепа, что в этом такого.

Приключения Нины Беломедовой мои родители называли анекдотичными, а у Богдана вызывали жалость к «чистой и хорошей девушке».

Моя подруга Катя Небылица с её «писательским чутьём» тоже не смогла остаться равнодушной к легендарной Нине Беломедовой. Она написала рассказ о смешной девочке Нине. Но благодаря горячей просьбе Богдана Катя передумала рассылать рассказ по редакциям молодёжных журналов. Нам она его читала в узком семейном кругу, все смеялись, кроме задумчивого Богдана.

На выданье

*(Рассказ Кати Небылицы о Нине Беломедовой,
несостоявшейся невесте Богдана Монастырского)*

Родители за завтраком переглянулись, и мама сказала, глядя на дочь: «У нас в субботу гости». Нина подняла глаза от овсяной каши и согласно кивнула. Она всегда была послушным ребёнком. Хоть в пять лет, хоть после получения паспорта. Даже подростковый возраст с его гормональными всплесками не отразился на её взаимоотношениях с parents. Родители это считали своей заслугой. Единственное, что беспокоило: у девушки не было ухажёров. А ведь так и детородный период можно прозевать. Когда Нине исполнилось двадцать семь, мама поникла, а папа принял решение.

Однажды, когда дочь ушла на лекции, папа сказал, причёсываясь в прихожей перед зеркалом:

– Послушай. Я нашёл ей жениха.

Жена выглянула из ванной (она, как и муж, опаздывала на работу) и, с зубной щёткой во рту, вопросительно промычала:

– У?

– Да у нашего прораба сын из армии вернулся, а невеста с животом, – неохотно пояснил глава семьи. – Ну, у пацана трагедия. Живот-то не от него.

Жена громко прочистила горло, побулькала водой и командным тоном крикнула из ванной:

– Ближе к делу! Очень тороплюсь! Заведующий кафедрой категорически запретил опоздания!

– Да я тоже, знаешь ли, не дрова рублю! Вот сейчас в пробках машина застрянет, и что тогда? Я изложил прорабу нашу проблему. Он, правда, без энтузиазма отнёсся. Тем более сын его младше нашей Нинки. Но на правах подчинённого изобразил любезность и согласился прийти в гости.

Из-за порога добавил:

– Меня, знаешь ли, от роли свахи воротит!

И хлопнул дверью, давая понять супруге, что вместо неё он, человек солидный, ответственный, кормилец семьи, занимается бабьими делами.

Вечером, на совете в супружеской постели, договорились держать в секрете от наследницы причину визита сослуживца.

Субботним утром отец сбегал в магазин, мать пожужжала пылесосом, а дочке дали возможность выспаться.

Прораб Николай Михайлович Шкаберников пришёл вместе с дедушками, бабушками и тремя детьми. Не считая супруги и героя смотрин. В руках прораб держал две бутылки водки. Он был выпивши, но чуть-чуть. Идея «породнения» с семьёй управляющего строительно-монтажным трестом Кима Георгиевича Беломедова была ему не по душе. Связывать судьбу сына с перезрелой интеллигенткой? Увольте. Да и от начальства – чем дальше, тем лучше.

Потомок прораба, демобилизованный, рядовой запаса Сергей Николаевич Шкаберников, высокий парень с кислой физиономией, тяготился суетой вокруг него и всех игнорировал. И лишь когда услышал, как Нина вежливо спросила у мамы, можно ли раздать гостям салфетки, он посмотрел на неё.

Жоржетта Александровна, мама Нины, перехватив этот взгляд, ущипнула мужа, Кима Георгиевича, и многозначительно приподняла брови. Молодых усадили напротив друг друга для выгодного «ракурса общения face to face» (идея хозяйки).

Гости (трое мальчиков двенадцати, десяти и восьми лет), две бабушки, двое дедушек, жена прораба и сам прораб вместе со старшим сыном поглощали магазинные пельмени со сметаной (Жоржетта Александровна не умела и не желала готовить. «Я человек науки. Мне не до хозяйства», – говорила она в кругу коллег по мединституту, где преподавала курс педиатрии). За столом было тихо, разговаривать незнакомым людям было не о чем.

– Нина, что же вы с Сергеем молчите. Ладно, мы, старики... – не выдержала Жоржетта Александровна и развела руками, как бы приглашая всех её поддержать.

Дедушки и бабушки, с набитыми ртами, поддакнули. Им понравилось, что цветущая пятидесятилетняя дама приравняла себя к их племени.

Супруга прораба, Анна Ивановна Шкаберникова, дородная, нарумяненная и напудренная, с щедро покрашенными ресницами и ярко обведенными чёрной подводкой глазами, посмотрела с надеждой на сына. Тот побледнел от злости, проглотил плохо разжёванный пельмень и отложил вилку. Он ещё не придумал, что бы такого культурного сказать, ибо на языке ничего, кроме матюков, не вертелось.

– А вы в театры любите ходить? – донёсся до молодого человека голос Нины.

Участники застолья замерли. Оглядевшись, жених обнаружил себя в центре внимания. Он покосился на барышню. Перед ним сидело существо с абсолютно невинным, спокойным выражением лица, явно не способное ни к лукавству, ни к позированию. Такое впечатление производили и большие наивные глаза без косметики, и это застёгнутое до подбородка, берегущее целомудренность, платье. Как общаться с гимназистками (так называл Сергей про себя подобного сорта воспитанных маменькиных дочек), он опыта не имел. Он кивнул, и потянулся за пельменем.

Но Нина не привыкла не выполнять родительских указаний и возобновила попытку завязать conversation:

– Мне нравится бывать в театрах. Там интеллигентно, чисто, интересные постановки. И публика комильфотная. Comme il faut. Никто не грызёт семечки, как это бывает в кино, например. Не плюёт под ноги. И в музыкальной филармонии мне по душе. Но туда надо идти, конечно, если хорошо выспался. Я однажды там уснула, вот уж конфуз был. Дома потом меня бранили. Ещё я люблю посещать читальный зал. Там тихо, все смотрят в книги. Никто не мешает. Можно безмятежно уйти с головой в роман. В цирке тоже интересно. Там, главное, весело. Правда, дети слишком шумно себя ведут. Вообще, подрастающее поколение, я считаю, это проблема номер один современного мира. Как гласит латинское выражение, *maxima debetur priore reverential*: «взрослые всегда должны помнить о том, чтобы не показать детям дурного примера». Действительно, мало сегодня воспитанных мальчиков и девочек. Вот, например, в Англии, я читала, *children* в общественных местах не слышно. Тише воды, ниже травы. А всё потому, что с малых лет воспитание настоящее, не то, что у нас, всё как попало, всё набекрень (слово «набекрень» девица Беломедова слышала из уст матери, когда та укоряла чадо за «косорукость» в хозяйственных делах).

Нина собралась развить мысль о своём сдержанном отношении к домоводству, но осеклась в связи с гримасой тапана, та постучала ножом по бутылке с водкой. (Это вызвало заинтересованность прораба, и он долил «Перцовки» в наполненные минералкой стаканы трезвящихся супругов Беломедовых).

– А мы тоже любим цирк! – сказал младший член семьи Шкаберниковых – восьмилетний Петя, и вытер под столом о скатерть пальцы, очистив их не только от пельменного жира, но и от вытащенной из носа козьявки.

– А наша мамка говорит, зачем нам цирк, там зараза, грипп, медведи кусаются, цены кусаются. Тем более, так мамка говорит, у нас дома покруче цирка, – продолжил отрок. – Потому что когда папка напьётся, мало не покажется. Так мамка говорит. И тогда она хватается сковородку и обещает папке свернуть башку.

– Заткнись, сс-с-сыкун!

Это были первые слова жениха. Общество обрадовалось, что жених, наконец, разговорился, и перестало жевать.

Но зато Петя рассердился на публичное оскорбление.

– Предатель! – закричал ребёнок.

Ему было стыдно, что всем теперь стало понятно из слов брата, что он, ученик 2-б класса средней школы №2 Пётр Шкаберников, до сих пор писается в кровать. – А ты на кухне в раковину писаешь. Вот что! С отца пример берёшь! Мало вас мамка матом кроет! Ремня вам надо обоим по голой жопе!

Мальчик опомнился. Ему стало страшно, что сказал лишнее. Осталось убежать из этого дурацкого дома, скрыться от предков и вообще от всех, на край света, и стать рыцарем. В крайнем случае, пиратом. С этим твёрдым намерением второклассник Пётр Шкаберников вскочил, собираясь выпрыгнуть из-за стола и дать стрелочка, но то ли от обиды, то ли от избытка пищи, звонко пукнул, густо покраснел и спрятался под стол с громким плачем. Дети прыснули от смеха и, свесив головы под стол к брату, стали ему строить рожи.

– Ну-ну, – крикнул один из дедов, и попросил себе добавки пельменей.

– А что такого он сказал? – отсмеявшись, сказал средний брат, десятилетний Витя. Он решил заступиться за младшего. – Про сковородку – чистая правда. Я сам слышал.

– Между прочим, мы не только цирк любим. Мы ещё любим пиво. Когда отец опохмеляется, на столе остаются бутылки с пивом. Только Серёга жадничает. Нам с братьями мало что перепадает. Он сам всё допивает, – вступил в беседу двенадцатилетний Лёня Шкаберников. – Да его жадность во всём проявляется. У отца, пока тот дрыхнет, сигареты из кармана тырит, а нам ни одной штучки не даст.

И Лёня, довольный, что досадил брату, показал язык. Сергей оглядел жующих. Никто не проронил ни слова. Анна Ивановна, обнимая одной рукой вернувшегося к ней под бок Петю, показывала старшим мальчишкам вымазанный сметаной кулак и делала страшные глаза. Прораб ухмылялся, разливая по рюмкам водку. В душе он был доволен, что его семья производит не вполне приятное впечатление. Собственно, с этой целью и позвал всех своих на смотрины.

– Ха-ха-ха! – хохот рядового запаса Шкаберникова разрядил обстановку.

Все заулыбались, подняли рюмки.

По завершении ужина молодых оставили наедине. Остальные ушли в прихожую. Сергей, осведомлённый о причине сумятицы, не стал никого догонять, а пересел в кресло и закинул ногу на ногу. Нина, вознамерившаяся выйти вслед за родителями, была остановлена материнским указанием из-за двери:

– Нина, займи гостя, пока мы тут валандаемся. Деткам и старикам надо в уборную перед дорогой.

В дверной щёлке был виден зрачок Жоржетты Александровны, его сменил зрачок Кима Георгиевича. Потом наблюдение было снято, и под перешёптывания дверь закрыли.

Нина расправила платье, присела на краешек стула, сохраняя осанку, и задумалась, на какую тему завести разговор. Насчёт театров, библиотеки и цирка с филармонией уже озвучено. Осталось про погоду.

– Про погоду трепаться не будем, – опередил её парень. – А ты лучше мне скажи: трах... сь когда-нибудь?

Гость решил, как он мысленно оценил свою реплику, «приколоться». Но без претензии на отклик, которого, а это на лбу у мадмуазель написано, и в помине не могло быть.

Нина с любопытством посмотрела в насмешливое лицо. О той пикантной смысловой нагрузке, которой наделён глагол «трах...ся» у продвинутой аудитории, Нина не ведала. Поэтому истолковала в буквальном смысле как «удариться».

– Один раз было. В деревне, – призналась, вспомнив, как на практике в деревне, куда привезли студентов в качестве трудового десанта копать на полях картошку, она упала с трактора и сломала ключицу. Её не предупредили, что сидеть на борту прицепа опасно. И когда молодёжь спряталась на грязном дне кузова, Нина, опасаясь запятнать новый спортивный костюм, взгромоздилась на борт. Во время резкого поворота (молодой тракторист вздумал заигрывать с местными девчатами на обочине дороги) Нина от толчка полетела на землю. Перелом был со смещением. Пришлось делать под наркозом операцию, а потом ходить в гипсе. Это было одно из сильных воспоминаний в жизни будущего доктора Беломедовой.

– О?! – выдохнул Сергей и распрямился. Он был настолько ошеломлён, что сказать больше ничего не мог.

– Да... Было ого-го. Запомнилось на всю жизнь. Подобное невозможно забыть. Было ощущение, словно меня пронзили насквозь. Такой силы удар. Отдалось и в голове, и в рёбрах, показалось, глаза на лоб вылезут, а я лопну от боли. Родители утешали: до свадьбы заживёт.

Сергей встал. И молча изучал Нину.

Она своими наивными глазами взирала на его физиономию:

– Excuse me, почему у вас такое странное выражение face? Так выглядят люди, когда слышат нечто невероятное.

– Ох...ть!!! – вырвался у юноши глагол неопределённой формы из области отечественной ненормативной лексики. – Тьфу. Пardon, мамзель... От чистого сердца выскочило. Я в шоке.

– Нет, не понимаю. А что тут такого. С подобными явлениями, мне кажется, сталкиваются практически все люди в своём бытии. Одни раньше, другие позже. With whom is not! У одних это происходит в сельской местности, как у меня, у других посреди города, на улице, как у моей приятельницы. Она спешила, было скользко, и тут споткнулась, а сзади шёл мужчина, он не знал, что идущая впереди упадёт, и налетел на её тело, рухнул прямо на лежащую. Life is life. Короче, трахнул так, что знакомая моя потом месяц хромала, не могла ноги вместе свести нормально. Memento mori!

– А знаешь, с тобой интересно, – сказал Сергей и подмигнул. – Ты чем по вечерам занимаешься? Может, прогуляемся по городу, заглянем куда-нибудь, развлечёмся, а?

– Не знаю даже. У меня много времени учёба отнимает. Но я подумаю над вашим предложением. Давайте, я запишу ваш номер телефона и позвоню, когда появится окно.

Совместный ужин Шкаберниковых-Беломедовых вошёл в семейные летописи как незабываемый и, вдобавок, излечил супругов Беломедовых от свадебной лихорадки.

Маму с папой Нина не стала посвящать в суть разговора *tete-a-tete*, как не заслуживающего их авторитетного внимания. Да и *parents* к тому же, помимо много чего другого, требовали от неё и такие две важные вещи, как возвращение домой не позднее двадцати одного часа и посвящение учёбе максимально большей части личного времени. Тем более не было смысла сообщать, что молодой человек предложил, по сути, крамолу: вместо повышения уровня образования – «растранжирование времени» (этот оборот речи Нина слышала от мамы, когда та выговаривала дочери за бездельничанье и выключала телевизор с сериалами. Телевизор позволяли ей смотреть по субботам и воскресеньям – не более двух часов в день. А что касается появившегося позднее интернета, то на него, как «рассадника разврата», в семье Беломедовых наложили табу до гробовой доски).

Жоржетта Александровна и Ким Георгиевич Беломедовы так и не узнали, какой шанс упустила их любимица. Сергей, правда, какое-то время ещё помнил гламурный трёп с барышней, и один раз подкараулил её недалеко от дома.

– Эй, подруга, которая в сельской местности того-сяго, привет, что ли! – издали помахал студентке с большим портфелем. – Не надорвёшься?

– Нет, не надорвусь. Тут, в основном, бумаги и медицинский халат. А они не тяжёлые. Да ещё бутерброды. Мама рекомендует съесть на переменах, чтобы не было язвы желудка, – объяснила Нина.

На прощанье сказала, что помнит о его давнем предложении погулять по городу и обязательно позвонит, как только появится свободное время.

Она ко всему подходила серьёзно. И держала данное слово. Просвет в учебном графике появился через год.

– Нина? Какая Нина? – удивился Сергей, услышав в телефонной трубке женский голос. «Ленку знаю, Верку помню, с Танькой поругался», – подумал он и тут вспомнил смешное застолье, чопорную девицу в длинном платье с манерами английской леди.

– А, Нина!

Он хотел добавить про «приключение в колхозе», но его опередили:

– Я вам дала слово позвонить, когда найду время. Завтра у меня свободный вечер. Начались каникулы. И родители разрешили с однокурсниками погулять по городу. Если хотите, можете присоединиться к нашей компании.

– Э, нет, дорогая. Поздно. Я женился, – и Сергей расхохотался.

– Правда?! Ой, как здорово! Поздравляю! – от души порадовалась за молодожёна Нина.

«Вот останешься старой девой», – сию угрозу она слышала от мамы не раз. В последние годы мама всё чаще повторяла эту фразу. Дочь соглашалась, что и правда, как плохо, быть старой девой. И как хорошо, когда вокруг играют свадьбы. Она с удовольствием принимала приглашения на свадьбы одноклассниц и однокурсниц, носила подарки, посылала красивые открытки по почте по случаю рождения малышей. Она «зарубила себе на носу» (выражение мамы), что одно из самых важных в жизни событий – вступить в брак. Поэтому новость, что сын прораба женился, была воспринята с восторгом. Нина подумала, как обрадуются родители, когда она им расскажет про Сергея. Но папа с мамой почему-то промолчали. Мама заперлась в спальне, а потом ходила по квартире с красными глазами.

В течение ближайших тридцати лет перемен в личной жизни Нины Кимовны не произошло. Мать-пенсионерка пророчеств про старую деву вслух больше не произносила.

«Вот и стала моя дочь старой девой», – думала Жоржетта Александровна, с завистью оглядывалась на женщин с детскими колясками и шла в церковь ставить свечу за упокой души скончавшегося от инфаркта Кима Георгиевича.

Нина по-прежнему, как и в юности, рассказывала матери о всех событиях своей жизни. Делилась впечатлениями от прочитанного в газетах и книгах. Спрашивала, какое лучше надеть платье на банкет по случаю юбилея главного врача той больницы, куда была направлена по распределению как молодой специалист и где осталась работать до пенсии. Жаловалась по вечерам на головную боль от крика младенцев в детском отделении. Описывала смешные истории из будней пациентов. Мама с дивана направляла в сторону телевизора пульт, переключала каналы и кивала дочери. «Может, и хорошо, что у Нины нет семьи. А то и правда, столько шума от детей», – такие мысли теперь появлялись у Жоржетты Александровны. И она бодрим голосом восклицала:

– А не пора ли нам попить чая с конфетками! ...

+++

– Ты бы, Ниночка, в церковь, что ли, сходила! – говорила вернувшаяся с воскресной Литургии набожная соседка и совала в руки шестидесятилетней Нины Кимовны припасенную для неё просфору.

Беломедова приподнималась со скамейки возле подъезда, где обычно проводила предобеденный отдых, кланялась, и вновь усаживалась поудобнее.

– А что, опять поминальные дни?

– Ну, зачем именно поминальные. В церковь всегда хорошо зайти, в любой день.

– Аааа, – равнодушно тянула Нина и крошила голубям остатки старого хлеба из пакета. – Я панихиды по памятным датам заказываю. А так, чтобы в церкви часами время убивать на службах, это как-то у нас дома было не принято...

Когда лучи поднявшегося в зенит солнца упирались в макушку, Нина уточняла время по наручным часам, и направлялась в близлежащую столовую – место своего трёхразового питания. Дома оставалось только выпить стакан кефира перед сном.

Трижды в неделю домработница Клавдия Романовна наводила в квартире Нины порядок. Клавдия Романовна была нанята ещё при жизни супругов Беломедовых. После их кончины, согласно завещанию, ей было назначено из сбережений усопших содержание в качестве платы за опеку Нины Кимовны Беломедовой.

Жоржетта Александровна незадолго до своей кончины слёзно умоляла домохозяйку не оставлять Ниночку даже в случае, если закончатся семейные средства. «Во славу Божию», – подтвердила своё согласие быть пожизненной нянькой Нине Кимовне верующая попечительница. С годами, действительно, денежные накопления иссякли. Нина стала питаться дома. С Клавдией Романовной объединили обе пенсии.

Вместе ходили на рынок, а потом домохозяйка (или, как она себя называла, «сестра во Христе») варила супы с борщами, придумывала вторые блюда. Согласно традиции семьи Беломедовых сервировала стол. И вдвоём с Ниной трапезничали.

По вечерам Нина устраивалась перед телевизором и, как мама в последние годы жизни, щёлкала пультом, переключая каналы. А раба Божья Клавдия на кухне вычитывала перед сном молитвенное правило. Во время рекламных пауз Нина выключала звук (так делала мама), и слушала разговор няньки с Богом. «Господи, помилуй!» – зачем-то повторяла Нина услышанное и сама себе удивлялась. «А вдруг Он всё-таки есть?» – думала она и с такими мыслями засыпала.

Во сне она из старой девы вновь превращалась в маленькую девочку. Бог брал её на руки, баюкал и обещал скорую встречу на Небе. «Значит, Ты меня любишь?» – спрашивала маленькая девочка. «Люблю. Очень люблю», – отвечал Бог.

Конец рассказа Кати Небылицы о Нине Беломедовой

Глава 7: «А меня зовут Витя»

Меня интересовало всё, что было связано с мужчинами – взгляды, рукопожатия, прикосновения. Мне нравилось играть в порочную роковую особу. Хотелось страсти, интриг, и, наконец, огромной, настоящей любви!!!

Я нарочно открывала свои мечты Богдану, знала – Богдан порицает подобное. Досаждать ему было для меня удовольствием. Вот и сейчас. Богдан ходил по комнате. Я наблюдала, как он хромает, и мне хотелось ему сказать что-то язвительное. «Ты – хромой неудачник, на тебя не смотрят девочки, вот ты и завидуешь мне. А я красива, я имею успех у мужчин. Тебя это коробит именно потому, что сам ни на что не годен. Вот и косишься на меня», – от таких несправедливых мыслей мне становилось неуютно, стыдно. «Я гадкая!» – думала я. Пропадало желание вслух сказать то, что просилось на язык. Мне становилось тоскливо. Я снова сердилась на брата. Он будил во мне совесть, и это меня злило.

– Вера, сядь, – Богдан указал на диван. – Сядь, наконец. Нам давно надо поговорить. Это серьёзно и важно.

– Ах-ах, можно подумать. Я наперёд знаю, что ты сейчас скажешь.

Я всё же устроилась на диване, но у меня была другая цель. Хотелось посмотреть на свои колени, как они будут выглядывать из-под короткого платья. Я представила, сколько мужчин увидит меня в такой позе, и взглянула на часы на своём запястье. Уже скоро, скоро наступит мой час звёздный.

Я рассеянно слушала, как Богдан рассказывает мне об опасности свободных отношений с противоположным полом. Его речь производила на меня обратное действие. Предостережения подогревали жар моих желаний. Я с нетерпением ждала чего-то. Я чувствовала, что совсем скоро у меня начнётся иная, совсем новая, интересная жизнь. Меня мучило желание стать по-настоящему взрослой, самостоятельной в поступках, независимой в чувствах. Мне хотелось распорядиться собой так, как я того хочу. Мне, наконец, хотелось делать всё наперекор брату. Меня бесило его пуританство.

– Ты ещё забыл сказать – береги честь смолоду, – сказала я.

Богдан не обратил внимания на мою насмешливую интонацию, и серьёзно сказал, взглянув в мои накрашенные глаза:

– Да. И это тоже.

– А зачем?

– Ты говоришь, зачем. А зачем, скажи мне, придуман стыд?

– А кем он придуман? И вообще, есть ли он. И нужен ли.

– Стыд придуман затем, чтобы сдерживать зло. Ибо порок – это зло. Если человек не потерял стыд – значит, он не потерял совесть. А если человек потерял совесть – то...

– То он потерял стыд. Ха-ха.

– А если человек потерял совесть, то это для него конец жизни. Человек без совести превращается в мертвеца.

– Не забудь свои афоризмы развесить на стенах.

Я ушла. Разговор с братом мне не понравился. Как всегда.

Но уже через считанные минуты я всё забыла. Началось главное. Хлопанье дверей, возгласы гостей, смех... Яркие губы, сдобные руки, открытые бюсты, всё вокруг наполнилось блеском драгоценных камней и золота, потекли благоухания французских духов.

Один из мужчин был не знаком мне. Он поглядывал в мою сторону. Это был необыкновенный взгляд, так мне казалось. В нём я разглядела независимость, любовь и верность. Я слышала, как мой отец сказал о нём:

– Знакомьтесь, это наш замечательный Виктор Константинович Шуев...

Кто он был, и почему один, и откуда мой отец его знает, я не вникала. Ничего не интересовало меня, это были ненужные детали. Главным было другое. Главным была истома, что разливалась по моим членам. Главным было чувство, что будоражило душу. Я радовалась красивым словам в мой адрес, и тогда щёки мои горели от удовольствия. Я стояла позади своих родителей в прихожей. Я старалась быть скромной и заставляла себя смотреть вниз, под ноги. Но мои глаза искали того, кто тоже искал меня.

Наконец, после целований-обниманий облако ароматов устремилось под обсуждение погоды и политических новостей к главному, туда, где в блеске искр хрустальной люстры пылал пуп жизни – он источал мясное, овощное, фруктовое, винное счастье. И пальцы уже сгибались в предвкушении вилок и рюмок, и животы млели.

Я успела протиснуться между чужими костюмами и платьями, и ухватить ту минуту, когда станет ясно, какой стул займёт Виктор Константинович.

– А меня зовут Витя, – услышала я его голос возле своей золотой серьги, когда моё короткое платьице улеглось наконец в необходимом для меня положении, открыв правильный вид коленок. Как чудесно они смотрелись. Я специально не придвигалась близко к столу, чтобы скатерть не закрывала этого захватывающего для постороннего взгляда пейзажа.

Меня удивило, что человек, которому на вид примерно столько же лет, как моему папе, называет себя Витей. В этом что-то есть. Это гораздо интереснее, чем стеснительные мальчишки. Если немолодой дяденька называет себя «Витя», значит... Значит, несомненно он – знаменитый кинорежиссёр. Вон, у него какой яркий попугайский шарф в вороте пёстрой рубахи. И какой красивый замшевый пиджак кремового цвета. Так любят одеваться именно кинорежиссёры.

Витя оценил то, как я расположилась на стуле. Я знала, куда он смотрит. И мне это нравилось. Он сказал:

– А как вы относитесь к революции?

Я смотрела вдаль, и там, вдали, всё для меня было в тумане. В тумане плавали рыбы, у них были красные губы, они кушали много-много, они пили ещё больше. Они плыли и плыли. Они уплывали внутрь своего чрева, и там они жили, большие, толстые рыбы. Я не смотрела совсем на этого человека. Это было бы уже слишком, смотреть на него так близко. Уже было достаточно того, что я так ясно ощущала запах его волос и кожи. От него пахло весной и розами. От него веяло энергией веков и той радостью, которая захватывает на вершинах гор там, где высокое, высокое небо. Так мне казалось. Но революция... При чём тут революция... Меня удивил этот вопрос странный. И я снова подумала, что мой загадочный незнакомец – кинорежиссёр. Ведь только кинорежиссёры могут говорить такие странные, неуместные вещи, например, про революцию. Когда нужно говорить про небо. Но кинорежиссёрам всё можно. Ведь это особые, эксцентричные люди. Я преклонялась перед кинорежиссёрами и, конечно, не отказалась бы стать кинозвездой.

– Вам сколько лет, уже шестнадцать?

– Да. Уже шестнадцать, – соврала, и всё так же сидела я прямо, не поворачивала головы к тому, кто так меня интересовал. И всё так же по ту сторону стола смеялись рыбы. Они были раздуты от обилия пищи, и были совсем как жабы. И у них клокотало в горле. У них булькало в желудке. В них чавкало и пищало то, что трамбовалось во чреве.

Я ждала с нетерпением новых вопросов. Я уже была уверена, что Витя не простой кинорежиссёр, а очень-очень знаменитый кинорежиссёр. Мне на ум приходили фамилии тех, о ком приходилось читать в журнале «Советский экран». Это был мой любимый журнал из многих, что наша семья выписывала.

– Вы учитесь в десятом классе?

– Да, в десятом, – сказала я.

Это забавно, врать уверенным голосом, с уверенным лицом. И всё же, чёрт возьми, что-то неприятное от лжи оседает на душу. Что-то есть в этом, от чего хочется скрыться. Прямо сейчас, вон из-за этого стола. Чтобы не врать, чтобы не слышать этих странных интонаций. Не ощущать эту вкрадчивость. И не знать этого предчувствия чего-то мерзкого, будто червь заползает по скатерти. Вот сейчас он запрыгнет на мои колени. Вот сейчас он дотронется до моих пальцев, заглянет в моё сердце... Но мне так хотелось сниматься в кино.

– А в какой школе вы учитесь? Где-то здесь поблизости? Или...

Ну вот, теперь про школу, значит – точно, кинорежиссёр, он ищет красивую девушку на кинопробы. И, несомненно, моя красота его сразила. Я – та, которую он давно искал по всей Москве, объездил много школ, и тут, случайно, он увидел то, что нужно. Радостные мысли теснились. Я была переполнена ожиданием славы. Но червь всё ближе. Его дыхание касалось сердца. И сердце уже болело от того дурмана, который так опьянял подозрительно сладко...

– Сегодня же праздник революции. А давайте, я вам покажу революцию. Хотите? Я вам покажу вулкан взрыва народных масс! Это должно понравиться. Энергия революционных стихий и вдохновений.

– Да, – сказала я, замирая.

Вот оно, начинается. Первая кинопроба! Мне хотят дать роль юной Крупской? А кинорежиссёр будет играть роль Ленина?!

– Но тогда мы сделаем так... Я выйду. А вы – за мной. Но, для конспирации (ведь конспирация – это неотъемлемый атрибут революции, не правда ли?), идти нам вместе не стоит. – Он слегка придвинулся и сказал мне на ухо, перейдя на «ты». – Выйдешь через минуту после меня. Я буду ждать тебя в прихожей.

Разве делают кинопробы в прихожей? И тут меня осенило. Он хочет меня увезти в студию, там заждались ты, которая станет звездой. Вот почему революция. Прорыв в мировом кино. Вот почему в прихожей. Он возьмёт меня за руку, мы исчезнем, и толпа в пьяном угаре ничего не заметит. А я буду на пути к славе.

И вот, когда я вышла в прихожую, я увидела... Что я увидела. Так вот что такое «энергия революционных стихий и вдохновений»! Такое я уже раньше наблюдала из окна школы. Во внутренний двор приходил дяденька дурацкий. Он стоял со спущенными штанами, и демонстрировал детям свои, как бы это сказать... свои очертания, и дети на переменах смотрели в окна, и смеялись, и показывали на дяденьку пальцем. А однажды дяденька попал в засаду, и его увезли в милицейской машине.

Когда я с ужасом скользнула взглядом по вздувшемуся огромному, так похожему на большую и мерзкую сарделю, то произошло извержение обещанного Витей вулкана. О... И **вот это** Витя дурацкий назвал революцией.

Я умчалась, зажав рот руками. О, теперь я никогда, никогда в жизни не буду есть сардели!!!! Я понеслась по квартире со скоростью страшной, высоко задирая ноги. Вот так когда-то мчалась ракета через три года после моего рождения. В той ракете сидел запущенный в космос Гагарин. «Будь готов! Всегда готов! Как Гагарин и Титов!». И стоял вокруг меня космос. В этом космосе было страшно. Страшно мерзко там было, очень! И меня качало ветрами, меня рвало всё быстрее куда-то. Но не к звёздам, где был Гагарин. Меня рвало на паркет, в унитазы, на мебель. Моё платье теперь не было чистым. И душа моя – тоже, тоже.

Потом, однажды в разговоре с Ритольдой я случайно рассказала про Витину революцию. Меня разбирал дикий хохот, когда я об этом говорила. Но Ритольда не смеялась. Она смотрела на меня широкими глазами и делала языком изумлённое «ц-ц-ц». Я взяла с неё честное слово, что она никому меня не выдаст. Но за спиной раздался голос Богдана:

– Я всё слышал. Ты говорила громко, и громко смеялась. Я хотел закрыть дверь, но не успел закрыть уши. А поэтому предупреждаю, что этого не оставлю. И мерзавца, если придёт к нам, вышвырну!

– Папа, а этот Виктор Константинович Шуев, он вообще кто? – спросила я однажды папу.

– Да ты знаешь, я не уверен точно, кто он... Мне его рекомендовал Николай Петрович. Мы были в одной компании на охоте. Там познакомились. Скажу по секрету, у меня есть подозрение, этот товарищ с площади Дзержинского. Но – тс-с... Это всего лишь гипотеза. С такими нужно держать ухо востро. И никогда не ссориться.

Папа ничего не знал про «революцию» и про клятву Богдана. И никто из нас не знал, что спустя годы история с Витей всем аукнется.

Через год, снова на 7 ноября, мы по традиции ждали гостей. Всё было, как обычно. Был Пётр Евгеньевич, который любит горячие блины, и Николай Петрович, который обожает холодное пиво. Михаил Викторович по традиции принёс для каждого в нашей семье, включая Ритольду и тётю Машу, по коробке конфет. Андрей Анатольевич привёл овчарку. Дамы сверкали бриллиантами.

Хохмили, кушали, пили. Всё как обычно. Стучали вилки, звенели рюмки. Но самое главное было вот что. В числе гостей за столом сидел и Виктор Константинович Шуев.

Богдан в тот день задержался. У него плотный график даже по праздникам. Творческие встречи, поэтические и художественные общества...

Я сидела, затаившись в своей комнате. Я не шла к гостям, и всё думала, что же будет, когда Богдан придёт домой? Я надеялась, что ничего не будет. Ведь Богдана я поставила в известность, кто такой Витя, и брат должен понимать, что с КГБ лучше не связываться.

– Здравствуйте, – сказал Богдан и остановился.

Ему никто не ответил. Слишком много было еды и анекдотов. Было не до Богдана.

На цыпочках, сняв туфли, я подбежала к двери. Уткнулась в щёлочку. Мне видны были строгие глаза моего брата, он смотрел на жующего Витю.

Богдан громко сказал:

– Вы, Виктор Константинович, мерзавец.

И тут все сразу забыли про яства. И глаза у всех открылись.

– И вы знаете об этом. А мерзавцам в нашем доме не место. Очень прошу вас уйти отсюда раз и навсегда!

– Что случилось?! – в голос воскликнули мама и папа.

Они поднялись. Они не знали, что делать. Всё было так непонятно. И пышное с воланами платье как-то вдруг поникло на маме. И стало видно, что оно испорчено пятном свежим от соуса жирного. И папа всё шевелил губами. Он не знал, что надо со ртом теперь делать, когда вдруг еда стала ненужной, когда вот такое случилось. И гнусная водка гнусно смеялась в рюмке хрустальной. И в комнату заглядывала испуганная Ритольда в нелепом поварском колпачке белом, в нём она была похожа на фельдшера. Его Ритольде подарил папа, специально для праздничных застолий.

Но Виктору Константиновичу Шуеву было всё понятно. Он налил себе водки, опрокинул рюмку, подцепил вилкой огурчик. И все слушали, как звенел между зубов Вити огурец с перчинкой. Оглядел Витя стол с поросёнком, курицей, холодцом, икоркой красной и чёрной. Дотронулся пальцем до запотевшей во льду бутылки шампанского. Оглядел людей внимательно. А потом поднялся неспешно. Сложил салфетку накрахмаленную. И ушёл бесшумно, аккуратными шагами.

Он был вежлив. Правда, невзначай пнул овчарку Гарри, но ведь она лежала у него на дороге, там, в прихожей, в ожидании хозяина, Андрея Анатольевича. Как не пнуть, если на дороге. Мне было это хорошо видно. Я сильно тянула шею, я высунулась из-за двери, но никто не смотрел на моё красивое иностранное платье, все смотрели вслед Виктору Константиновичу. Никому не было до меня дела, и мне тоже не было до себя дело. Я вся была там, в спине дурацкой, превратившейся в дверь молчаливую. И Богдан поспешно её захлопнул, закрыл на все замки.

Но спина, уши, нос, ноги человека из КГБ, всё осталось на самом деле. Увяз в этой двери Витя дурацкий, не успел выйти, как дверь злая уже закрылась. И пришлось Вите стать дверью, чтобы спустя годы из неё воскреснуть страшными и даже роковыми неприятностями. И о своей обиде нам напомнить. Но пока мы того не знали. На прощанье он всем пожелал спокойной ночи. И протянул руку моему папе, когда тот поспешил за ним в прихожую с извинениями неловкими. И говорил папа виноватым голосом. И не мог унять дрожь внезапную. И губы у отца прыгали. И был он бледным, как Ленин в Мавзолее.

– Дети, что же вы мне сразу всё не рассказали? – говорил нам с братом отец растерянный, когда гости уехали, и когда Богдан рассказывал родителям про «революцию с вулканом» прошлогодние, а я рядом молчала, потупившись.

И молчала мама в кресле-качалке с сигаретой во рту, застрявшей вместо зубочистки, с глазами закрытыми. И горели за окном звёзды красные, говорили, что все люди друг другу – братья, и почему-то мало теперь в это верилось. Вспоминались мечты мои звёздные, как чуть было не стала я женой Ленина, и тогда мне снова хотелось смеяться диким хохотом.

А потом как-то на улице, рядом с домом, где мы жили, между магазинами и аптеками, между машинами и толпами, я увидела картину удивительную. Моя мама стояла в шубке норковой, волосы по плечам рассыпались. Она пела песню молчаливую, это было видно по её лицу печальному. Она, видно, забыла, что уже давно замужем. Ей казалось, что она всё так же молода. И весна в волосах мамы путалась, и зима по щекам таяла. И когда подошёл к ней Витя замечательный, моя мама схватила его за руки, целовала в губы прямо при всех и плакала, а потом лупила по лицу отчаянно. Я стояла посреди проспекта Кутузовского. Я забыла, зачем и куда вышла, что купить хотела, и сколько денег на это нужно мне. Всё вокруг меня исчезло. Только маму свою я видела, только её слышала, как рыдала она. И ушёл Виктор замечательный, на ходу рукою помахивая.

Глава 8: «Идти в школу без Кати я отказалась»

Когда я узнала, что скоро пойду в первый класс, обрадовалась. Но моя радость исчезла через минуту. Родители сказали, что буду я ходить в элитную школу для детей из высокопоставленных семей. Я вспомнила о Кате Небылице. Она – не из элитной семьи. Значит, Кати со мной рядом не будет. Идти в школу без Кати я наотрез отказалась.

– Вера. Это не проблема. Один мой звонок, и Катю зачислят с тобой в ту же школу в один класс.

Но воспротивилась Ритольда.

– Моя дочь не пойдёт в школу для воображувль из крутых семеек. Знаю их порядки. Катю будут дразнить и смотреть как на второсортную.

После длительных уговоров родители от меня отступились, и 1 сентября 1966 года мы за руку с Катей пошли в ближайшую к дому Монастырских школу в сопровождении Ритольды. А в элитную школу поехал послушный воле родителей мой смиренный брат Богдан – на отцовской «Волге» вместе с Марией Фёдоровной и моей мамой. Папа был занят. Я была рада, что предстоящие десять лет учёбы не придётся слушать, как учителя захваливают моего талантливого брата. Наша школа оказалась с углублённым изучением английского языка. Это предопределило выбор моей будущей профессии.

3 часть романа

Я хочу быть другой! – Вера Монастырская

Глава 1: Перестрелка

Ну вот, я опять проснулась. Когда просыпалась, чей-то голос сказал мне: «Ты до сих пор жива, Вера. Как странно, почему ты до сих пор жива...». Я удивилась и тут же проснулась. И я сказала вслух: а ведь правда, зачем мне эта жизнь. Пустота и пустота, вот что такое моя жизнь. Зачем вообще я тут.

С утра было так тихо, что мне казалось, я до сих пор сплю. За лёгким тюлем лёгкое утро. За светлым небом светлое будущее. Что там, небо? Есть ли там, над тобой, ещё одно небо, и ещё одна жизнь, и будет ли эта жизнь со мною? Как хочется. Ах, как хочется быть там, где свет, где нет мыслей о смерти, потому что нет и самой смерти. А будут ли мысли? И о чём они будут? Этой ночью мне вновь думалось о смерти, как это бывает со мною, когда мрак, и вот, уже рядом слепота подступающего сна, и что-то тяжкое, мучительное наваливается на душу, пугает, обжигает. И холод такой, что... О, зачем и говорить об этом. До того тяжко. И никакое одеяло не спасает от этого холода.

Этой ночью я ходила во сне. Но я не знала, что это сон. Я видела себя, я стояла посреди комнаты, и я была не я, а – скелет. Я видела свои кости, они были белые, как смерть, и я двигала ими, и шла по комнате. Мне не было страшно. Мне не было страшно? Или было? Не знаю. Но вот я очнулась, и увидела себя, настоящую, я стояла в своей чистой кружевной ночной рубашке до пят – посреди чего-то страшного, тёмного, всё дышало вокруг и вздымалось. Я похолодела от ужаса. Где я, может, это не я, а я уже умерла, и это... Я, наконец, окончательно проснулась, узнала свою комнату, и прыгнула обратно в постель. Я вспомнила, что точно такой же сон случился со мной в детстве. Всё было точь-в-точь, я в виде скелета передвигаюсь медленно, с опаской, будто по краю пропасти, я смотрю на свои руки и вижу лишь кости, и вместо ног тоже кости, и я проснулась и увидела, что иду по спальне. Странно. К чему это. Зачем вообще всё это. Все эти сны. Зачем они пугают меня. Я не хочу таких снов. Кто даёт их мне? Кто так пугает

меня? Кто заставляет меня смотреть эти сны, когда я не хочу их? Кто повелевает мне пугаться и страшиться, холодеть от ужаса, когда я хочу быть весёлой, радостной, и ничего не бояться...

Ах, до чего я устала. Не понимаю себя. Что-то мешает мне, не даёт быть спокойной. Богдан говорит, это совесть. Как глупо. Всё глупо. А Богдан меня злит разговорами о совести, советами пойти в церковь на исповедь. Вот и вчера он пришёл ко мне и предложил почитать Евангелие. Я отказалась. А он сказал... «Вера. Ты уже третью ночь плачешь во сне. Ты рыдаешь и говоришь, что тебе душно. Я сказал няне, она ходила к тебе, но не стала будить. Ты говорила во сне: «Тяжело... Тяжело». Няня сказала мне, что это плачет душа. Понимаешь? Душе тяжело от... Как бы это выразиться. Ну, от всего-всего. Одним словом, от грязи. Накопилось много такого, что мучает душу. И она хочет очиститься. А делается это, Вера, ну, ведь ты и без меня это прекрасно знаешь, через покаяние. Исповедь в церкви. Причастие Тела и Крови Христа... Ты же помнишь, как это было в детстве, как было хорошо, там, в детстве, когда няня водила нас в церковь...».

Я молчала. Я не заметила, как он ушёл. И провалилась в смерть. А наутро, как это обычно случается, воскресла, и вспомнила свой сон, такой странный сон, в котором я видела себя в виде скелета. И этот скелет куда-то двигался. А когда я очнулась, я увидела себя идущей по комнате. Я ходила во сне. Куда же я шла? Где сон, а где явь? Не так ли наша жизнь. Как сон, как сон...

Но вот что-то послышалось мне. Кто-то вошёл в спальню.

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дева, радуйся, Твой Сын воскрес тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый...»

Богдан стоял у двери и шептал молитвы, и глядел сквозь меня. Так мне показалось. Хотя, не исключая, что он глядел на мою унылую душу. Иногда мне кажется, что во время сна душа человека болтается неизвестно где, но только не в теле спящего человека. Ей скучно находиться целый день внутри тела, и она ждёт-не дожждётся, пока человеческая плоть провалится в сонную смерть. Вот и на этот раз, пока я спала, моя унылая душа сидела рядом со мной и мечтала о всяких глупостях. Ей хотелось полетать, залезть на высокое облако и увидеть Ангела. Но душа слишком срослась с моей плотью, чтобы позволить себе подобную роскошь. «Как это тяжело, жить в дебелим теле», – думала она. В этом состоянии её, не исключая, увидел Богдан. Но тут я очнулась от своей смертушки, и всё исчезло. Я была я, и никаких глупостей. Я сидела с прямой спиной на своей кровати, мне было зябко, я куталась в тёплый халат. Богдан стал говорить так, как будто не было ночи, и время остановилось, и продолжался наш вчерашний разговор.

Мне было страшно слушать Богдана. Чувство жалости к самой себе поднялось в сердце. Я хотела закричать на Богдана, прогнать. Я подумала, что если скажу хоть слово, то зарыдаю. Я продолжала молчать и смотрела под ноги.

Глуховатый голос Богдана приблизился. И снова отдалился. Он шёл своей прихрамывающей походкой, но не ко мне, он сел за стол. Расправил складки на скатерти. Сказал: «Да. Правда. Как было хорошо в детстве. Мы ходили с няней в церковь. Дружно, вместе. И няня нас вела, держа за руки. А теперь ты стала чужой. И вот, больше не хочешь быть с Богом... Ты молчишь». Он подождал, я всё равно молчала. Он снова заговорил: «Но я знаю, что ты хочешь сказать. Ведь ты всегда, всю жизнь, споришь, перечишь, делаешь и мне, и всем – назло. Ты и сейчас хочешь мне сказать то, что раньше уже говорила, а говорила ты, что никогда не хотела быть с Богом. Но, Вера, как страшно, что ты веришь не себе. Потому что эти твои слова – не твои. Тот, кто повелевает тебе так говорить и думать, это не человек, Вера. Это – то, что не от жизни, а от смерти, и это тебя держит крепко, мёртвой хваткой, не хочет выпустить. Но, Вера, я тебя прошу, очнись, приди в себя, вспомни, кто ты, зачем на этой земле, для чего приняла от Бога жизнь. А ведь для чего, Вера? Ты помнишь? Разве не для того, чтобы потом вновь её отдать Богу, и дать отчёт, что успела сделать за это время. А что надо было, что, Вера? Вот что от нас ждут учителя на экзаменах? Ну, там, знаний, да? Хороших знаний по предмету. Так вот

и тут, когда наша жизнь закончится. Мы должны будем отдать Богу то, что самое драгоценное. Это – наша душа. Вот предмет всей заботы нашей земной жизни. Вот то, что мы должны были в течение этого жизненного срока лелеять, готовить, очищать, и всё для того, чтобы войти потом в чертог небесный. Грязных туда не пустят. А куда же деваться грязным? Подумай, Вера, как страшно, куда деваться грязным... Ведь ты знаешь, знаешь ответ, и вот почему так плачет твоя душа по ночам, когда ты спишь, а душа не спит, а душа хотя бы ночью получает возможность выплакаться, а что ей ещё делать, когда ты и твой мрачный невидимый хозяин не пускают её, душу твою (которая, как всякая другая душа человеческая, христианка по своей природе), не пускают её в Дом Отца своего, в Храм Божий, к Тому, Кто ждёт покаяния, ждёт изменения твоей жизни...»

Богдан поднялся, подошёл ко мне, мы взглянули друг другу в глаза. В глазах Богдана я увидела сочувствие. А что в моих глазах увидел Богдан? Не знаю, во всяком случае – не сочувствие. Я бы хотела, вот так, как он, быть доброй, быть честной, быть, наконец, справедливой. Вот и сейчас. Он сочувствует мне. Он так высок в своём благородстве, что мне хочется плакать. Отчего? Чужой, неприятный голос что-то говорит мне, этот мерзкий голос зовёт из мрачных глубин моей души злобу, и эта злоба – на Богдана. И вот, мне уже хочется скрипеть зубами от злости, и мне не хочется смотреть в глаза брата и видеть в них сочувствие. Почему он не такой, как я? Почему я не могу быть такой, как он?

– А знаешь, я сделал не так давно лично для себя интересное открытие. Вот, слушай, – Богдан поднял указательный палец и на секунду замер, он напоминал учителя перед началом лекции. – События в жизни человека с духовной точки зрения не имеют цены. Никакой. Каждому человеку Богом отведена какая-то роль в жизни, и целая вереница событий. Человек цепляется за них, он верит, что всё, что случается с ним, это очень серьёзно, это важно. Он видит великий смысл в том, чтобы достичь служебного роста, сделать успешную карьеру. Кто-то всецело поглощён заботой о деньгах, кто-то – о славе и могуществе, а кто-то ставит своей целью достижение власти. Для одного главное – это крепкая семья, жена, дети, другому хочется помимо этого иметь ещё и на стороне любовные приключения. Для кого-то жизнь – это тяжесть, заботы, скорби, и человек бесконечно стонет, проклиная, мечется. И жизнь кажется ярмом. Кто-то заполняет своё сердце плачем из-за тяжёлой, изматывающей его телесной болезни. А кто-то ищет утешения в угождении чреву, он каждый день с радостью поглощает всё новые яства, и спит потом в неге, и сладкие сны ему кажутся явью. И вся эта вереница событий представляется человеку насыщенной, наполненной, и человек ждёт новых и новых событий. Но на самом деле всё это, Вера, не главное! Всё это лишь некий скелет, не более.

– Скелет? – я будто очнулась, вспомнив свой сон. – Почему скелет? О чём ты?

– О том, Вера. Что на самом деле не события в нашей жизни главное, а то, как мы на них реагируем. Бог послал каждого из нас в эту жизнь на испытание, и Он смотрит, как мы будем жить, если хочешь – какого качества будут наши поступки и мысли, как мы будем помнить Того, кто дал нам и эту жизнь, и все эти блага. Будем ли жить по Его слову. Будем ли благодарить Его за всё, в том числе и за скорби! Не будем ли роптать? И каждый день, Вера, для нас испытание. Да что там день. Каждый миг – это проверка нашей совести. Потому что Тот, кто испытывает наши сердца и слышит наше дыхание, ревнив! Он не желает, чтобы мы ради чрева и удовольствий забывали Его. Он скорбит, когда мы плачем не о Нём, а плачем о том, что не можем утолить свои страсти. В нашем сердце происходит то, что и есть самое главное в этой временной жизни – выбор между тьмою и светом. Мы принимаем внешние переживания и различные жизненные этапы за судьбоносное, необходимое, мы берём к сердцу то, что потом обременяет на годы. Мы ссоримся друг с другом. Затаиваем зло. Привыкаем к зависти. Взращиваем ненависть. Мы жаждем мести. Мы льстим друг другу, а в душе испытываем совершенно иные чувства, и это лицемерие нас не коробит, мы срослись с ним, и вся наша жизнь становится большим лицемерием, большим пузырьём чванства и спеси. И мы уже

всё реже и реже видим себя на перепутье. Мы не хотим этого видеть, мы делаем вид, что не слышим Голос Бога в душе, а этот Голос продолжает нас звать. Но нам так не хочется делать выбор между светом и тьмою, это так трудно. Гораздо легче быть злым и мерзким, пакостным и лицемерным, жестоким и завистливым. И мы всё чаще сдаёмся, и превращаемся в надутых, сытых, пустых, и не понимаем, что на самом деле мы давно мертвы. Давно. И мы уже превратились в тех скелетов, какими скоро и станем, после того, когда наши бездыханные тела понесут в такую холодную, такую чёрную землю.

– Но каков тогда смысл всего, о чём ты говоришь, Богдан? Зачем тогда жить, если так всё страшно?

– Смысл, Вера, не в том, что именно человек ест и пьёт, на ком он женился, и сколько детей у него родилось. Смысл, Вера, и не в том, богат человек или беден, достиг ли он положения в обществе, обрёл ли богатство, сделал ли хорошую карьеру, или остался навсегда нищим, никому не известным. Смысл, Вера, не в том, здоров человек или болен, умён или глуп, образован или не образован, удачлив или нет. А смысл в том, и об этом я уже только что сказал, в кого превращается человек в этих, данных ему Богом, жизненных обстоятельствах, может быть, в ангела, а может быть, в зверя, а может быть, он мятётся всю жизнь, мечется между своими «я», между своими ликами, и то на один гребень волны взлетит, то на другой, да и ухнет в бездну, то он добр, то он зол, то он глуп, то умён.. И плачет, плачет человек, и не хочет быть таким, каков он есть, и ничего поделать с собою не может... Увы, увы, как часто мы слабы, как часто малодушны...

– А что ты предлагаешь, Богдан? Ты вот такой умный. Да, человек слабое существо, согласна. Но как же стать сильным, как? Как сделать так, чтобы вот эта внутренняя гниль не душила тебя каждый день и каждый час, а? Как преодолеть в себе ту пакость, что точит и точит, что съедает твою душу, доводит до изнеможения? Ты знаешь рецепт, чтобы научиться оставаться добрым и милостивым к людям, обуздывать свои страсти и жить так, чтобы другим людям было тепло и уютно рядом с тобою, научиться забывать себя ради других людей?

– Сам по себе человек ничего не может. Но есть Бог, и Он может всё. И если человек возложит всё упование на Бога, если станет каждый день умолять Его о помиловании, просить помощи, то Он даст силы терпеливо переносить тяготы жизни, без уныния встречать скорби, и ежечасно славить Творца, давшего жизнь, показавшего свет. Жить так – это значит жить ради Господа, и ради Господа жертвовать собой. Вот тогда и начнётся преображение души, и человек вдруг обретёт крылья, которые позволят ему подняться над собственным «я». И тогда человек будет каждый день в полёте, он будет подниматься и над этим миром, и над собственными страстями. Молитва будет соединять его с дыханием Бога, и он будет каждый день новым.

– Трудно поверить в твой идеализм. Просто не могу представить, чтобы, например, сам по себе злой человек вдруг стал добрым, жадный – щедрым, злопамятный – милостивым... Хм...

– Чтобы это понять, надо попробовать хотя бы так начать жить, Вера. Человек, который живёт для Бога, такой человек живёт тем самым для других. И каждый день приносит себя в жертву ради Бога, ради пользы ближнего. Такой человек получает свет и отраду от самого Бога. Почему те, кого мы называем святыми, стали такими? Потому что всё, что они делали, они делали во имя Господа. Они через немалые труды научились каждый день приносить себя в жертву ради Бога. Они смиренно терпели скорби и лишения ради Господа. И Господь посылал им духовные дары, Он утешал их неизреченной благодатью. И такие люди укреплялись от Бога духом, это были могучие духом люди. И этих людей, святых людей, ничто не могло сломить в этой жизни. Потому что с ними был сам Бог. И они знали, что эта жизнь на земле промелькнёт как сон. И не эта жизнь главное. А главное то, что будет после неё.

– Ну и что будет?

– Царство Небесное, Вера. Царство Небесное.

Я слушала Богдана и не хотела его слушать. Я думала о том, что Богдан прав, и мне это не нравилось. Я ловила себя на неприятном ощущении. Вот что это, что? Вот сейчас закричу ему: «Хватит давить на совесть!»

– Хватит! Хватит!

Мы вздрогнули. Кто-то кричал близко, в этом голосе было отчаяние. Раздались выстрелы. Мы, не глядя друг на друга, побежали к окну. Туман окутывал двор. Фигурки людей двигались, прыгали, смешно кланялись друг другу, бросались на землю, будто собирались целовать её в знак покаяния перед Богом.

– Господи, помилуй, – тихо сказал Богдан.

Я взглянула мельком на него. Он крестился и повторял молитвы.

Во дворе стреляли, люди прятались за деревьями, за детскими горками, перебежали от дома к дому. Мы увидели, как чей-то силуэт мелькнул вблизи от нашего подъезда. Хлопнула дверь. Когда в квартире раздался долгий звонок, я испугалась. «Нас арестуют, если мы впустим к себе этого человека», – подумала я. Богдан строго взглянул мне в глаза («Он прочитал мои мысли», – подумала я), и ушёл в прихожую.

Незванный гость оказался симпатичным высоким парнем лет двадцати восьми. У него были чёрные выразительные глаза. В них можно было прочесть интерес и желание познакомиться с милой девушкой. Его широкие плечи и тренированный торс также привлекли моё внимание.

– Хватит, – повторил он нервным голосом то, что кричал во дворе. – Только не говорите ничего. Хватит слов. Хватит стрельбы. Хватит.

Мы молчали. Он не стал ждать приглашения, закрыл за собой дверь. Богдан кивком указал, куда надо идти, и все пошли в его комнату.

Богдан уложил парня на диване. Я перевязала раненую руку.

– Спасибо, ребята. Ничего не бойтесь. Это не опасно. Так, разборки между своими. Меня зовут...

Он замолчал, взглянул на меня, улыбнулся глазами, и продолжил:

– Константин.

Я протянула ему стакан с водой и ушла. Пусть поболтают с Богданом о жизни, а мне-то что. Но любопытство оказалось сильнее моего равнодушия, а равнодушие оказалось напускным. Как только я осталась одна, мне стало скучно. Я слышала голоса. Ладно уж, пойду, послушаю, мне всё равно нечего делать.

Как пусто в моей жизни. Как хочется чего-то красивого. Любви? А может, замуж? Но за кого... Желающих, может, и хватает, но всё не то, не то... Вот и этот, Константин. В его глазах я увидела интерес. Вот сейчас, войду в комнату, пройду медленно, с задумчивым видом, сделаю вид, что ищу книгу, постою перед шкафом, мельком взгляну в сторону гостя, и...

Да, вижу, вижу, я ему интересна. Всё так, как я и представляла. Ха. Хм. Я быстро чувствую настроение другого человека, если это касается меня. Пожалуй, я слишком люблю саму себя, свою красоту, свой ум, но люблю ли кого-то другого... Когда задаёшь себе такие вопросы, становится страшно. Почти так же страшно, как и в минуты размышлений о смерти. Страшно заглядывать внутрь себя и видеть там пустоту. Во мне нет ничего, во мне пусто, вот что понимаешь, когда смотришь не в зеркало, не туда, где красивые глаза с накрашенными ресницами, очерченные помадой губы, а смотришь в душу. Вот там всё не так, как в зеркале. Там всё некрасиво, уныло, страшно. Там – пусто.

Неужели я люблю себя вот за эту пустоту? Нет. Но любить себя ради этих красивых глаз – глупо. Наступит время, когда они утонут в морщинах, а вместе с ними утонет и моя красота. И вот что тогда? Будет ли мне, как и прежде, чем восторгаться в самой себе? Чем тогда я буду гордиться, когда утрачу свой блеск? Деньгами? Славой? Могущественным мужем (если он будет)? Но ведь это всё лишь приложение ко мне. А лично я, что останется во мне такого,

чем я смогу гордиться? О, страшные мысли, о, жестокие мысли, зачем вы мучаете меня. Я теряюсь от этих мыслей. Я хочу рыдать, бежать от самой себя.

Я слышу, Константин рассказывает про перестрелку во дворе. Звучат известные фамилии. Андропов, Брежнев... Щелоков заручился согласием генсека на арест шефа КГБ, но чекисты, охранявшие дом 26 на Кутузовском проспекте, оказались удачливее группы спецназа МВД... Ага, видно, наш Константин из чекистов, раз так их нахваливает. Хм.

+++

Роман с Константином получился скучным.

Мне быстро надоели его долгие поцелуи, торопливые движения рук, это глупое дрожание пальцев.

– Послушай, Костя, – мой голос прозвучал, пожалуй, нежно, и это выдало мою издёвку. – Ты, наверное, в детстве был алкоголиком?

– Почему ты это говоришь?

– У тебя руки дрожат.

– Это тебе лишь кажется.

– А, поняла. Это – озноб любви. Ха-ха!

Он посмотрел на меня так, как умел это делать – без выражения. Это, подумала я в который раз, профессиональное.

– А вас там, где ты работаешь, учат скрываться за пустотой глаз? – перебила я себя.

Он молчал. В его глазах видны были деревья из окна напротив. Они тянули ко мне свои щупальца. Мне не хотелось ни к этим щупальцам, ни к этим глазам. Я отвернулась к настоящим деревьям. Они так хорошо шелестели в открытом окне. Они были настоящими.

– Вот деревья – настоящие. А ты – нет, – сказала я.

Он подошёл и взял меня за плечи.

– Ты опять? Тебе не даёт покоя моя работа. Перестань.

– Нет, Костя. Мне не даёшь покоя ты сам.

– И это плохо, судя по твоей интонации?

– Плохо, да. А знаешь, почему?

– Не хочу знать.

– Значит, знаешь.

– И что же я знаю?

– Что ты мне надоел.

– Ты не выспалась. Завтра у тебя будет другое настроение. И всё будет по-старому.

Я оттолкнула его.

– Уходи.

– Ты разочаровалась из-за той истории?

Я пожала плечами. Я знала, о чём он говорит. Но и что с того...

– Я не знаю, о чём ты говоришь.

– Нет. Ты знаешь.

Я повернулась и взглянула ему в глаза.

– И что с того...

– Мне интересно просто, что думает невеста, когда у её жениха вываливаются из кармана презервативы.

(Я закрыла глаза. В памяти всплыло. Спустя два месяца после нашего знакомства он пришёл и объявил, что к власти приходит Андропов, а потом вдруг сделал мне предложение. Я помню, как в моей голове пронеслись мысли о блестящем будущем такого брака, и какой-то неприятный голос как бы подсказал моей душе: соглашайся. Мои губы стали чужими. Они будто омертвели. И я сказала: согласна. И стала сама себе противна. Но тебе уже двадцать

четыре, пора иметь семью, детей, и, главное, перспективного мужа, – как бы сказал некто моей душе. И мы пошли гулять на набережную.

Он демонстрировал, что умеет ходить на руках. А потом из его кармана посыпались презервативы. Он вскочил на ноги с криком «бля...!», упал на колени, стал их запихивать обратно в карман брюк. Я хохотала. Костя взглянул на меня. И вдруг сказал взволнованным голосом, что снимает проститутку возле метро «Проспект Мира». Ой, не могу. Зачем он это сказал?! Болван болваном. Просто умираю от смеха.)

Он ушёл. Я знала, что он вернётся через день-другой.

Я полистала блокнот. Там немало мужских имён. За каждым – своя история. Мда. Кому позвонить? Ну, хотя бы Генке.

– Послушай. Ты не мог бы побыть моим кавалером на полчаса. Так надо.

В трубке кашлянули. Меня раздражает в людях эта манера – покашливать вместо слов. Я бросила трубку.

Телефон откликнулся звонком и спросил:

– Тебе это зачем?

– Затем.

– Послушай. Мы не видели и не слышали друг друга двести лет, и вдруг этот звонок... Не странно? Я не знаю, что и ответить...

– Мне нужно отшить одного типа.

– Понятно. И что я должен делать.

– Придёшь ко мне, когда я позову. А дальше по ситуации.

Но отшивать особо и не пришлось. Костя позвонил через неделю и предложил встретиться, как он выразился, «на нейтральной территории для серьёзного разговора». Такой территорией он согласился считать мой двор.

Я пришла, как и планировала, не одна.

По дороге Генка сказал, что я очень красивая. Мне это не понравилось.

Костя взглянул на Генку.

– Ты кто?

– Кока.

– А, – сказал Костя.

– Это сокращённо. А вообще я – Кокарейкин, – сказал Генка, взглянул на меня снизу вверх и правой рукой обнял мои плечи. Для этого Генке пришлось привстать на цыпочки.

Мне стало противно. Я сбросила его руку. Костя усмехнулся и взглянул на меня. Я чувствовала, что моя красота его волнует, и меня это раздражало.

– Я вообще-то хотел наедине с тобой поговорить.

– Ладно. Гена, извини, до завтра, милый, – сказала я с облегчением.

Генка тоже меня раздражал. Генка меня раздражал ещё больше, чем Костя.

Генка ухмыльнулся.

– Хорошо, дорогая.

Я посмотрела вслед Геше. Какой был, таким и остался. Сколько лет я его не видела... Интересно, есть ли у него девчонка? Вряд ли. Не пришёл бы сюда.

– Кулакову привет! – крикнула.

Геша оглянулся и помахал рукой:

– Ха-ха.

В его смехе я услышала для себя воспоминание о минувшем. Как Кулаков с Гешей гонялись за мной по коридорам телестудии. Как Кулаков смотрел на меня влюблёнными глазами. Как... Мда, Кулаков... Хм...

– Так что ты хотел мне сказать?

– Вера, это касается твоего отца. Его могут арестовать. И скажу больше, решение по нему уже принято на этот счёт. Пока наблюдают. Когда всё произойдёт? Дело времени. Поэтому...

Он помолчал, глядя мимо меня.

Он прячет глаза, подумала я.

Он сказал:

– Так вот.

И снова замолчал.

– Ну? – сказала я.

– Знаешь, ты вовремя сказала «уйди». Теперь я даже рад этому.

– Почему? – сказала я. – Впрочем, мне не интересно, что ты ответишь. Я и так всё поняла.

– Ну да, ну да, – бормотнул он.

В его голосе я услышала помимо тревоги – облегчение. Он тревожился, сможет ли пере-нести разлуку со мной, и радовался, что избавляется от проблем. Но это я так решила. А как на самом деле, фиг его знает. Я кивнула ему и развернулась, но уйти сразу не получилось. Он обнял меня сзади, прижался ко мне всем телом. Он дрожал от возбуждения.

– Ты просто чертовски красива, – сказал он горячим, страстным голосом мне в ухо, и его руки засуетились, хватая меня так, будто хотели напоследок отщипнуть от меня как можно больше сувениров на память.

Я передёрнула плечами, и чужая страсть тут же осыпалась с меня будто старый песок. И всё стало тихо за моей спиной.

Меня расстроило то, что он сказал об отце.

Сказать папе об этом? Но как я объясню, откуда это знаю? Нет, это невозможно.

Глава 2: Арест отца

– События в жизни каждого из нас – это всего лишь проекция нашей внутренней сути, – сказал Богдан. – И вообще, не имеют значения в жизни человека те явления, которые происходят.

– Да, знаю, это ты когда-то уже говорил. Напомни, что ты этим хочешь сказать? – мой вопрос прозвучал вяло, без интереса.

Потому что я сама думала так же, как Богдан. И по обыкновению, меня взяла досада, что не я первой сказала то, что так меня занимало. Я рассердилась на Богдана, и затем рассердилась на себя именно потому, что рассердилась на Богдана. Ну вот, подумала я, это опять зависть. Я постоянно ему завидую. Даже в таком пустяке, как сейчас.

– Я хочу сказать очень многое, – оживился Богдан.

Он отложил бумаги. Поднялся из-за стола и стал ходить, прихрамывая, по комнате, от высокой закрытой двери до огромных окон у противоположной стены.

– Не имеют значения ни карьера, ни богатство, ни награды, ни болезни. Всё это – мусор. А имеет значение то, что внутри человека. Его отношение ко всему тому, что вокруг него происходит. И вот именно эта его внутренняя суть и является затем первопричиной последующих его действий в жизни. Тех или иных шагов. Вот это важно. Его внутренний человек. Это важно, понимаешь?

– Важно – кому?

– Богу.

– Но ты же знаешь, я не верю в Бога. Если и есть что-то, то это... Я бы назвала Высшим Разумом. Для меня всё сказанное тобою в конечном итоге – чушь, раз ты всё это сводишь к идее Бога. Нет такой идеи. Есть что-то иное, но только не Бог, – я говорила вызывающим тоном. Мне всегда хотелось спорить с Богданом. Говорить ему наперекор.

– А совесть, что ты можешь сказать о совести? Откуда она, и что это такое? Материалисты дать ответ на этот вопрос не могут. Потому что им придётся признать очевидное: совесть – это голос Бога в нашем сердце. И жить по совести – это и означает жить по Богу, по большому счёту. Люди, потерявшие Бога, сегодня наглядно демонстрируют свою беспомощность в этой жизни. Они превращаются в скотов. Возьми хотя бы эти последние громкие аресты наших знаменитых торговцев. Соколов, Бегальман, Филиппов, Уральцев, Трегубов, Кантор... Уж столько нам отец про них рассказал, но я на это смотрю с иной точки зрения. Как ты думаешь, почему этот директор «Елисейевского» гастронома, этот Соколов, почему он потерял контроль над собой и стал взяточником? Или директор универмага «Сокольники» Кантор – ну вот скажи, зачем человеку воровать миллионами, да ещё прятать в доме тайники с ювелирными изделиями, это ведь надо жить в постоянном страхе. Но люди предпочитают всё равно красть, лгать, но зачем? Какой ценой? Ради чего? Да потому что человек, потерявший Бога, теряет самого себя. В нашей стране изначально, с момента революции, людей стали не просто лишать возможности ходить в церковь, но и разлучать с Богом, стали выращивать поколение безбожников. А там, где нет Бога, там место дьявола. Если хочешь, скажу ещё так: если ты не веришь в Бога, значит – ты не веришь в саму себя.

– Ха.

– Да-да, ну смотри. Ты говоришь, Бога нет... – Богдан остановился, поглядел сверху в мои глаза. Я усмехнулась и заложила ногу на ногу. Я сидела на диване и грызла семечки. – Но тогда почему есть ты, с твоими мыслями, чувствами, с твоим характером и настроением? Ведь ты есть. Кто-то же вызвал тебя из небытия, кто-то же дал тебе жизнь, и потом эту жизнь этот Кто-то отнимет, и призовёт тебя к Себе. Призовёт, кстати, на Суд. И тогда ты дашь отчёт в

том, как ты жила. Всё в этой жизни зависит от Бога, абсолютно всё! Он всюду, Он держит это мироздание, которое создал, Он даёт дыхание всему живому.

Это был наш вечный спор.

Вот почему, ну почему Богдан уверовал в Бога? Вопреки всему, что было в советской атеистической реальности? В нашей семье всё было пропитано партийной карьерой отца, добившегося благодаря своему честолюбию, упорству, железной хватке и принципиальности, хороших высот. Благодаря этому мы переехали в Москву, мы жили прекрасно, мы имели всё, и мама могла не работать. В нашей замечательной огромнейшей пятикомнатной квартире на Кутузовском проспекте с высокими потолками, в старинном доме для номенклатурных работников, висели портреты партийный вождей. К нам приходили в гости высокопоставленные особы, у них были красиво одетые упитанные жёны. Все улыбались, говорили вежливо, принесли подарки нам с Богданом, и цветы моей маме. У нас было много хороших вещей, телевизоры, прислуга и вкусная еда. Отпуск отца и высокие связи позволяли совершать путешествия в интересные уголки страны, на дорогие курорты и за рубеж. Наша семья упивалась благополучием, но нам с Богданом чего-то не хватало.

Мы часто говорили с ним о пустоте жизни, о том, что душно жить в такой атмосфере, но почему, и что это за атмосфера, не могли объяснить. Нас одинаково отталкивала от школы навязываемая комсомольская активность, глупые уроки по глупой истории КПСС, мы всё больше чувствовали отвращение ко многому из того, что заставляли учить в школе. «Это не та литература, это не та история! Нас учат лжи», – говорил Богдан и рассказывал про то, как большевики расстреливали священников, как рушили храмы, как миллионы невинных людей были уничтожены этой властью.

Я молчала, я не хотела показывать ему, что он прав, но в душе соглашалась. Я тоже ощущала скуку от всего, что приходилось читать в учебниках и газетах, что требовалось писать в сочинениях, но не знала, как с этим бороться, как найти себя, и чувствовала свою потерянность. Богдан этот вопрос решил для себя радикально – в четырнадцать лет он отрёкся от комсомола и партии и объявил, что уже давно верит в Бога. Отец и мама это называли чудачеством, говорили о генах верующих предков, но посещать храм Богдану не мешали. Скоро в его комнате появились иконы, в красном углу затеплилась лампадка, а в гости к Богдану стали ходить новые друзья – они отличались от тех, с кем мне приходилось общаться в своей жизни. Эти не имели привычки смотреть пристально в глаза, не окидывали взглядом с головы до ног, да они и вообще, как мне казалось, не обращали на меня внимания. Странные, однако, товарищи, думала я.

Мне приглянулся один из них. Учащийся духовной семинарии. «А вы туда пошли учиться по примеру вождя всех народов, да? Как никак товарищ Сталин тоже начинал свою карьеру с духовной семинарии, вам есть чем гордиться, не так ли? И что дальше? Может, ваша конечная цель – повторить путь Иосифа Виссарионовича и оказаться в кресле генсека?» – попыталась я разговорить молчаливого парня. «Берите выше. Моя цель – оказаться в раю», – сказал он с улыбкой, поклонился и поспешил уйти. К сожалению, этот парнишка больше у нас дома не появлялся. Богдан сказал, что он ушёл в монастырь на послушание и, быть может, станет монахом.

– А ты знаешь, ведь грех не имеет национальности, – Богдан продолжал ходить передо мною и поглядывал на то, как я щёлкаю семечки.

Мне было интересно его слушать. Но я скрывала своё любопытство и плевала под ноги шелуху.

Богдан принёс веник, вымел из-под моих ног мусор с паркета, и стал говорить дальше.

– Разве имеет значение, кто лжёт, англичанин или русский? А кто крадёт, не всё ли равно, немец или француз? Понимаешь мою мысль? Есть нечто над всеми людьми, это и добро, это и зло. И вот по отношению к ним не имеют значения ни нация, ни гражданство. Так же как

смерть. Всё в этом мире подчинено вовсе не правительству или деньгам, как думают те, кто привязан к этой временной жизни. Вот над чем я тебе предлагаю задуматься.

В это время мы услышали, как кто-то отпер входную дверь и быстрыми шагами прошёл в комнату отца.

– Странно. Папа так рано, – с той же задумчивостью сказал Богдан, выглянул из спальни, прислушался и вернулся к нашему разговору.

Я, однако, больше не слушала его, мною овладела тревога. Это было предчувствие. Я жила плохими предчувствиями большую часть своей жизни. Несмотря на то, что жизнь была так безмятежна. Но я верила не тому, что видела рядом с собой, а – внутреннему, что болело так часто и вроде беспричинно в моём сердце.

Мы с Богданом были дома одни.

Мама на три бархатных осенних месяца умотала лечить лёгкие в Сандански. Она говорила перед отъездом, листая рекламный буклет: «О. Высокогорный противоастматический курорт в Болгарии. Это для меня то, что надо». Хотя у мамы никогда не было астмы, но ей «очень нравится в Сандански», где когда-то в далёком детстве лечила свою астму одна из прабабушек. «Я должна увидеть эту легенду уже хотя бы потому, что в тех местах ступали ноги моих предков», – со смехом говорила моя мама во время одного из званых обедов и именитые гости согласно наклоняли головы. А папа молчал. И по лицу его пробегала тревога. Так мне казалось. И мне от этого становилось тревожно. Разлуки с матерью мне всегда представлялись трагедией. Каждый раз, когда она исчезала из дома, я ощущала себя наполовину мёртвой. И мой отец, он, так мне казалось, тоже становился наполовину мёртвым. Я переживала за него, за маму, мне всегда казалось, что наша семья на грани каких-то неприятных событий. И это ожидание изматывало.

Вот и сейчас. Папа. Что с ним. Почему он вернулся с работы. Почему он побежал в свой кабинет. Зачем эта тревога в моём сердце. Я встала, взглянула на брата и сделала знак молчать. Он вопросительно посмотрел на меня.

– Тихо. Нельзя сейчас говорить.

– Почему?

– Мне кажется, что-то происходит. Папа, видишь, сам не свой.

– Почему ты так думаешь?

– Я слышала (а на самом деле, я подслушивала) сегодня ночью его телефонный разговор с мамой. Он сказал, в стране творится чёрт знает что. Андроповская власть начала террор против партийцев.

Дверь распахнулась, и мы увидели бледное лицо отца.

– Вы уже взрослые. И вы должны быть опорой маме. Меня, не исключая, арестуют. Я собрал бумаги. Их надо сжечь. Если я не успею, вы это сделайте.

Но не успел отец закончить говорить, как в дверь стали звонить. Он схватился за грудь и сел на стул. У моего отца никогда не болело сердце, и то, как он схватился за сердце, показалось мне игрой. К тому времени я уже научилась не верить людям, и даже отцу. Но это не отнимало мою симпатию к нему. Отец для меня всегда был примером, я в нём любила и его недостатки, и его достоинства. Я была готова поддерживать, если это требовалось, и его ложь, и его политическую игру. «Больное сердце – это политическая игра, это прикрытие», – подумала я.

Я уже знала, что буду всем говорить о больном сердце моего отца. Пока отец тянул время и в дверь продолжали звонить, а Богдан бегал по квартире в поисках лекарств, я сгребала в отцовском кабинете приготовленные к сжиганию документы и прятала у себя под одеждой. К той минуте, как в нашу квартиру вошли люди в штатском, я превратилась в очень толстую девушку. Обыск в квартире не принёс нашим гостям ничего, что им хотелось найти, но отца увели. Я хотела в последний раз взглянуть на отца, и зачем я только вышла на балкон. Возле

чёрной машины прохаживался тот самый «замечательный Виктор Константинович Шув», он заметил меня и помахал рукой.

Глава 3: После ареста

На даче хорошо. Тихо, уютно, всё, как в детстве. Вот старинные часы. А вот мой разноцветный мяч. О, кукла Катя, я её так назвала в честь своей подруги. Я прижимаю куклу к груди, смотрю по сторонам, и мои глаза наполняются слезами. Боже мой, как тяжело на сердце. Как жить дальше.

Я хожу по комнатам, и дом отзывается на мои шаги шёпотом пыли, скрипом стульев, вздохом дивана.

Мой любимый комод. Сколько безделушек и детских сокровищ было спрятано в этих тяжёлых выдвижных ящиках. Я дёргаю за ручку, но ящики оказываются запёртыми. Странно. Кто их закрыл. И где ключ. Я смотрю на связку ключей в своей руке. Эти ключи мне успел отдать отец. Быть может, один из них подойдёт. Я подхожу к окну, выглядываю за штору, во дворе тихо, за забором тоже. Дорога пуста. Моя машина ждёт меня. Я приехала сама. В таких делах нельзя доверять даже шофёру. Тем более и шофёра уже нет. Он покинул нас, когда узнал об аресте отца.

Комод подчинился седьмому ключу. В ящиках я нашла то, что меня привело в трепет: бриллианты. И перевязанные ленточками пачки писем. Это были любовные письма к моей матери. Она переписывалась с каким-то Колей, он называл её «моя милая кисонька», писал, что очень скучает и ждёт, ждёт новых встреч, чтобы «обнять милую, прижать к себе и никогда не отпускать». Я листала письма матери и скоро обнаружила, что вместо Коленьки появился Мишенька, а Мишеньку сменил Олег... Я поднялась. Достаточно. Мне стало жалко отца. Бедный папа. Он знал об этих письмах... Но куда отвезти сокровища? Домой к Кате?

Я села в машину и вспомнила Богдана. Он всегда учил меня креститься, прежде чем взяться за руль. Я подняла руку и перекрестилась. Мне было страшно. То ли письма матери, то ли бриллианты, но что-то подействовало на мою душу, и отчего это тяжёлое предчувствие... Я оглядела дорогу. Взглянула на небо. Всё тихо, пустынно. Если я поеду налево, то путь мой будет идти по хорошей, гладкой дороге, но если поеду направо, то смогу свернуть в лес, там тоже есть дорога, но не асфальтированная, но зато вокруг будет лес, и солнце будет мелькать в листве. Я вспомнила слова Богдана о том, что лучше в жизни идти узким, тернистым путём, ибо в Царство Небесное можно войти лишь через узкие ворота. Ну, если не в Царство Небесное, то хотя бы не в ад, – подумала я, усмехнулась и поехала направо, и вот уже три знакомых берёзы возле развилки, и ручей сверкает между камешками, и вот уже спуск на просёлочную дорогу. Машина скользнула и скрылась в чаще.

Я вышла, меня тошнило, я прилегла на траву. «Почему меня тошнит?» Эта мысль мне не давала покоя уже несколько дней. Я боялась себе признаться, что беременна. Но это было именно так. Костя, Костя... Доигрались... Я задремала. Послышалось, где-то проехала машина. Снова стало тревожно на душе. Я вспомнила про беременность, про арест отца, про бриллианты. Выглянула из чащи. Машина, а вон ещё. Люди вышли. Идут к нашей даче. Скрылись во дворе.

Через мгновение отцовская «Волга» несла меня сквозь лесную чащу. И пыльная дорога не препятствовала этому полёту. И душа моя тоже летела. И мне казалось, я лечу к Богу. И я молилась, и говорила Богу спасибо за то, что не позволил мне поехать той, гладкой, асфальтированной дорогой, и тем самым уберёт меня от страшных людей, приехавших на нашу дачу. И я вспоминала слова Богдана, и думала о том, что как всегда, Богдан был прав, и Бог действительно есть. И мне больше не было тяжело на душе. И я плакала.

Ритольда и Катя не стали расспрашивать, что в коробках из-под обуви. «Конечно, мы всё скроем, – сказала Ритольда. – Ваше горе – это и наше горе».

Мама прилетела из Болгарии. Она похожа на птицу в клетке. Она мечется по квартире и говорит что-то. Я не знаю, что она говорит. Это не важно. Она просто должна что-то сейчас говорить. А мы с Богданом должны смотреть на неё и молчать. Ей нужно на полдня покинуть нас, с этими словами она ушла.

К вечеру она вернулась с белым лицом. «Там кто-то был. И забрал наши драгоценности». Она вышла на балкон, закурила и сказала через плечо: «Может, это отец успел? А может, он давно всё растранижил?» Я сказала: «Мама. Бриллианты я перепрятала. В квартире Ритольды». Мама бросила в пепельницу сигарету и вернулась в комнату. Взглянув на меня, достала из серванта коньяк, выпила рюмку и сказала: «Молодец». Помолчав, добавила: «А письма?» – «И письма тоже». Мама выпила ещё одну рюмку: «Я не хотела, чтобы кто-то из вас прочёл те письма. Но рука не поднималась их сжечь».

Утром мама разбудила нас. Небо только начинало светлеть.

– Я предлагаю вам улететь со мною в США.

– Мы не хотим, – в один голос сказали мы.

Мама покачала головой:

– Да. Я так и думала. Но у вас есть ещё время на размышление. Целый час. Обдумайте моё предложение. Стоит ли вам оставаться в этой чёртовой стране. Впрочем, о чём я говорю. Вас мне не уговорить, в этом я не сомневаюсь. А потому уместно вспомнить и о бриллиантах. Их мне отсюда скорее всего не вывезти. Но я дам адрес одного человека Он поможет вам сбыть всё это с рук за сумасшедшие деньги, и вы будете обеспечены на годы вперёд.

Мы провожали её. Мама была грустной. По дороге в аэропорт она пила коньяк, теребила шторы на окне машины, прижималась щекой к оконному стеклу, и плакала. Богдан был за рулём.

– Знаешь, мой любовник очень влиятельный человек, это он помог мне с документами и билетом в Америку. Он и вам мог бы с билетами помочь. Он, как и вы, тоже отказался со мной лететь, – сказала она мне на ухо и стала смеяться. По её щекам бежали слёзы.

Ну вот, наконец, она призналась, что у неё есть любовник. Я вспомнила отца, и моё сердце дрогнуло от жалости. Мне стало так жалко их обоих, и папу, и маму. Я вдруг увидела их детьми, они заблудились в лесу. Они всю жизнь блуждают в этом лесу, слепые, беспомощные, жалкие. А я? А что тогда говорить обо мне?! Ооо...

Я стала плакать и отвернулась от мамы, чтобы она не видела моих слёз. Но ей было не до меня. Она пила коньяк и тоже плакала.

– Мама, а я жду ребёнка, – сказала я вполголоса.

Мама пристально взглянула на меня.

Ей не хотелось знать о подобных проблемах. Тем более сейчас, когда она уже на другом континенте.

Мама сказала:

– Вера, что за дурацкая манера бормотать себе под нос. Я ничего не слышу.

Я была рада, что этот разговор не состоялся.

Через месяц нас с Богданом вызвали в посольство и сообщили, что гражданка Ольга Ивановна Монастырская, девичья фамилия Боголюбова, 1934 года рождения, найдена мёртвой в каком-то там отеле. Я и названия не запомнила. В моей голове крутится песня – «Отель Калифорния». Причина смерти – передозировка наркотиков. Нам передали найденное при матери прощальное письмо.

«Мои дорогие Богдан и Катя. Простите меня. Я решила уйти из жизни. Это наилучший выход для меня. Когда отец вернётся из тюрьмы, скажите ему, что я любила его и прошу у него прощения».

Дома я включила магнитофон. «Отель Калифорния».

On a dark desert highway

Cool wind in my hair
Warm smell of colitas
Rising up through the air
Up ahead in the distance
I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night

There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
«This could be heaven or this could be hell»
На тёмном пустынном шоссе
Ветер развевал мои волосы,
Тёплый запах марихуаны
Ощущался в воздухе.
Недалеко впереди
Я увидел мигающий свет.
Я почувствовал усталость, и меня клонило в сон,
Поэтому мне пришлось остановиться на ночь...
Она стояла на пороге,
Я услышал звон колокольчика
И подумал про себя:
«Это – либо рай, либо ад».
... Добро пожаловать в отель «Калифорния»,
Такое прекрасное место,
Такое прекрасное место,
Такое прекрасное лицо.
Они зажигают по полной в отеле «Калифорния».
Какой чудесный сюрприз!
Какой чудесный сюрприз!
Предъявите своё алиби.

На потолке зеркала,
Розовое шампанское во льду,
И она сказала: «Здесь мы просто узники,
По нашему собственному желанию».
В комнате хозяина
Они собрались, чтобы пировать.
Они взяли свои стальные ножи,
Но никак не могли убить зверя.

Последнее, что я помню,
Это как я побежал к дверям.
Мне нужно было найти, как выбраться отсюда
Чтобы вернуться туда, откуда я пришёл.
«Расслабьтесь», сказал сторож,
«Нас запрограммировали принимать гостей.
Вы можете освободить номер в любое время,

Но вы никогда не сможете уйти!»

Поздно вечером к нам пришёл Костя.

Он был одет в великолепный дорогой костюм. От него пахло хорошим одеколоном. Или шампанским?

Он оглядел мой увеличившийся живот и сказал:

– Вера, ты что, вышла замуж?

– Ты пришёл, чтобы задать этот вопрос? – сказала я и оглянулась на Богдана.

Богдан подбадривающе мне кивнул.

Не так давно моя беременность стала для брата болезненным сюрпризом. Но он не сказал мне ни одного неприятного слова. Он с сочувствием смотрел на меня: «Из двух зол лучше выбирать меньшее. Хорошо, что ты решила сохранить жизнь ребёнку. Загубленное во чреве дитя – это ужасный, просто ужасный грех, это преступление. А малыша твоего мы вырастим, не переживай!»

– Я не забыл, ребята, что вы спасли мне жизнь, – продолжил Костя. – Я не могу быть неблагодарным. Поэтому скажу вам насчёт смерти вашей матери: это не самоубийство. Вашу мать убили. Богдан, ты, я знаю, близок к церкви. И это для тебя, Богдан, хорошая новость. Вы можете смело заказывать в церквях за неё поминальные службы. Ну, а кто именно инсценировал самоубийство, какие силы за этим стоят, это не требует разъяснений. Прощайте.

На пороге он оглянулся. Мы с Богданом молчали.

– Ладно. Скажу ещё одну вещь. Вашего отца, насколько мне стало известно, хотят отпустить. В его защиту выступили партийные лидеры из Горького. Там вспомнили добрые дела, которые оказывал землякам Монастырский. Горьковчане достучались до самых верхов. Вашему отцу повезло. К слову, если бы ваша мать не сбежала в Америку, её бы тоже, я просто в этом уверен, не стали трогать. Перебежчиков у нас не любят, сами знаете. Тем более такого ранга. Мало ли, что они могут рассказать зарубежной прессе. Мда.

– Костя, надо бы кое-что сказать тебе, – сказала я, выйдя следом за ним за порог.

Он остановился.

– Слушаю.

– Я не праздна. И знаешь, благодаря кому?

Он изменился в лице.

– Не знаю, Вера. Да и знать мне это не надо.

И ушёл.

Мне было слышно, как этажом ниже он, споткнувшись, грубо выругался.

Я закрыла дверь.

Отец

Отец вернулся из тюрьмы другим человеком. Я знала, что после тюрьмы люди становятся другими. Но то, что произошло с моим отцом, это было непонятно. Отец уверовал в Бога. Об этом он сказал, когда переступил порог родной квартиры.

– Дорогие мои, ребяташки! Бог есть! Понимаете?! И это Он освободил меня! И я это знаю точно! А всё остальное неважно, – отец ушёл в свою комнату.

Были слышны его шаркания, стук коленок об пол, он молился долго. Богдан вернулся в свою комнату и тоже стал молиться. В квартире стало тихо. Только шёпот. Вот и Мария Фёдоровна встала перед образами на молитву. «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Ну что же делать. Весь мир молится, и только я не у дел. Я в недоумении сидела на диване.

За вечерним чаепитием, когда собрались все обитатели нашей квартиры, отец рассказывал о том, как там ему жилось в тюрьме. Это были горькие воспоминания. Допросы, доносы, ненависть, страдания, болезни, душевные терзания, и люди, много людей, среди них были вся-

кие, добрые, злые, жестокие, подлые, слабые... Всё это варилось перед глазами моего отца, будто в котле. Это был ад, повторял отец. Да, я был в аду, теперь я знаю, что ад начинается тут, на земле. И однажды, сказал отец, я стал молиться. Мне приснился, будто наяву, мой двоюродный брат, священник Антоний Монастырский. Он сказал: «Молись, Богу. Только Он может помочь тебе». И я стал молиться. Я просил Господа освободить меня...»

«Я дал слово стать монахом», – закончил свой рассказ отец.

С появлением отца началась другая жизнь. Как и Богдан, он не упрекал меня. Он только сказал, глядя на мой живот: «Что случилось, то случилось».

Каждое утро он с Марией Фёдоровной и Богданом проводили в церкви. Каждый вечер – тоже. А однажды в нашей квартире прозвучал звонок в дверь, и на пороге мы увидели своего родственника – священника-монаха. Того самого отца Антония, которого мой отец всю жизнь не хотел знать, и который велел ему в сонном видении молиться Богу. Так вот для какого гостя отец просил приготовить угощение. Мой отец и этот монах были похожи друг на друга. Говорил он негромко, вдумчиво.

Из их разговора за столом я поняла, что они недавно встретились. Мой папа разыскал отца Антония и попросил найти для него работу при храме.

– Только бы при церкви работу, а там, глядишь, Бог даст в монастырь уйти, – сказал папа. Отец Антоний смотрел на нас весело, по-доброму.

Вскоре к нам снова пришёл Костя.

– Ты опять с недобрыми вестями? Может, не надо ничего говорить, а? – сказала я ему. Я не стала пускать Костю в квартиру. Мы разговаривали на лестничной площадке.

– Над твоим отцом снова сгущаются тучи. Известный высокопоставленный партийный работник (неважно, что бывший) компрометирует партию близостью к церкви. Твоему отцу нужно забыть дорогу в храм.

– Ой, знаешь, что, Костя, спасибо тебе, конечно, но пора ставить точку. Хватит, понял? До свидания.

– Учти, я предупредил. Иначе...

– Что иначе?

– Плохо всё может закончиться, Вера.

– А тебе не всё ли равно?

– Не знаю, Вера.

– Вот я и вижу, что ты ничего не знаешь. Ни совести, ни стыда ты не знаешь.

– Если ты об этом, – он кивнул на мой живот, – то, Вера, знаешь, сама расхлёбывай. А меня не впутывай в свои дела. Скажи спасибо, что я вот, рискую репутацией, карьерой, к вам домой ещё прихожу, помогаю, как могу...

– Вера, что тут происходит? – папа выглянул за дверь.

– Познакомься. Это мой знакомый. Костя.

– Очень приятно. Константин, проходите в квартиру, что же на пороге разговариваете.

– Благодарю. Мне нужно идти. До свидания.

Он ушёл.

– Вера, кто это? Ну-ка...

Мы прошли в папину комнату.

– Так...

– Может, расскажешь всё же?

– Может, расскажу, папа.

– Выкладывай. Что за тайны, почему на лестнице? Не он ли отец твоего будущего ребёнка?

– Понимаешь, папа... – я замолчала, надо ли говорить?

Отец смотрел на меня. В его глазах я видела знакомое с детства родное, доброе.

– Папа, этот человек ... Я с ним случайно познакомилась. Уже давно. Он из КГБ. Когда-то он предупредил нас, что тебя могут арестовать. И его слова сбылись. Потом он сообщил, что мама вовсе не покончила с собой, а её убили. А теперь он сказал: там, наверху, недовольны тем, что ты, папа, ходишь в церковь. Ещё сказал – они хотят, чтобы ты забыл дорогу в храм. Известный партийный работник, хоть и бывший, не должен компрометировать своими поступками партию.

Папа понимающе кивнул.

– Вера, я всё понял. Этого следовало ожидать. Но послушай меня. Я уже говорил, что лишь теперь начал жить. Преподобней жизни для меня больше нет.

Я смотрела на него, я боялась за него. Я не хотела потерять его. Никто мне так не был дорог, как он. Мне хотелось стать другой. Такой, как мой отец, как мой брат Богдан, как наш родственник, отец Антоний... Ах, как я хочу быть другой...

Костя к нам пришёл ещё раз. Сказал, что ему нужно поговорить с Верой. Но не я была ему нужна. Он пришёл, чтобы убить моего отца. Это случилось днём, когда дома никого, кроме отца, не было. И это был день рождения моего отца. Мы с Богданом были на занятиях. А вечером собирались всей семьёй отметить папин праздник за столом.

Папа узнал Костю, пригласил подождать, пока вернётся Вера. Костя принёс конфеты и пачку чая. Они пили чай. Меня Костя не дождался. Когда мы с Богданом вернулись, то нашли отца умирающим.

– Меня отравили. Твой знакомый из КГБ, – его голос слабел. – Там, на столе, чай, конфеты... Не прикасайтесь... Вера...

Я склонилась над ним.

– Мне снилась рыбка. Она смеялась детским голосом. «У меня будет внучка», – подумал я... Вера. Я в жизни совершал много ошибок. Всю жизнь я несусь груз этих ошибок.

Он плакал.

– Вера... Богдан, ты где?

– Папа, я здесь, – сказал Богдан.

– Хорошо. Я должен был давно вам сказать... Дети, простите меня... – он замолчал.

Я знала, что он хотел, но не сказал. Я помнила тот, подслушанный, разговор родителей о Кате...

Ночью у меня родилась дочь.

Дочь человека, который убил моего отца.

Глава 4: Пока ещё есть время...

(черновик неудачной исповеди Веры Монастырской)

Запись на полях рукой Веры: «Хотела написать генеральную исповедь всей своей жизни. Но когда взялась за перо, меня понесло непонятно куда. Мысли, воспоминания, события, всё перемешалось. Я так и не поняла, исповедь это, мемуары или просто незаконченный роман. Ха.»

Я давно не люблю смотреть в зеркало. Там я вижу не только свою старость, но и свои грязные мысли. Они затаились в ухмылке, в прищуре глаз, в нахмуренных бровях... Та плевать мне на грязные мысли, говорю я себе и дёргаю плечом. Или не плевать?

Наверное, я скоро умру. Впрочем, почему «наверное». Но не это сейчас меня интересует. Пока ещё есть время, я должна успеть кое-что сделать для своей внучки Таис. У неё большое будущее. У неё есть для этого талант, красота. Я узнаю в Таис себя. Но ей не хватает одного. Квартиры. Что делать. Я нашла ответ на этот вопрос. Конечно, то, что я придумала, против моей совести. Но плевать. Если бы я всю жизнь слушалась совесть, то ничего не смогла добиться.

У меня есть подруга. Её зовут Небылица. Она меня здорово выручает в этой жизни. Она из тех людей, которые позволяют сесть себе на голову. И это меня устраивает. В своё время благодаря этому я отбила у неё мужа. Не знаю, что там в мозгах у Небылицы, но то, что она – дура, это факт. Если бы кто так поступил со мной, я бы этого человека отравила крысиным ядом.

Моя подруга верит людям, это уже самая настоящая глупость. Вот и мне она всегда верила. Даже когда обман бывал налицо, она всё равно не меняла своего отношения ко мне. Это меня не восхищает, но устраивает. Особенно когда вопрос такой важности, как квартирный.

У меня есть огромная квартира в престижном доме, там, на Кутузовском проспекте, где со времён Брежнева жила партийная элита. В той квартире когда-то убили моего отца. С той поры я не любила ночевать там. И частенько уходила на ночь к Кате Небылице.

Сейчас на Кутузовском живёт моя дочь Анжелика и внучка Таис. А я – у Кати.

Каждый день она рассказывает мне о Боге. Она меня этим просто задолбала. По утрам она просыпается очень рано и не даёт мне спать своим пришёптыванием. Это она вычитывает молитвы по книжке, потом бродит по квартире, то в ванную, то на кухню, то к шкафу. Это идут сборы в церковь. Наконец, дверь за ней закрывается, и я могу ещё нормально поспать пару часов. После обеда опять начинаются сборы в церковь, а вечером пришёптывания. И так изо дня в день.

Мне непонятна такая скучная жизнь. Мне вообще в последние годы многое непонятно в своей подруге. Но она вкусно готовит, сама делает уборку, сама ходит на рынок. Она всё делает с таким удовольствием, что у меня поднимается настроение. Мне остаётся только смотреть телевизор.

Чем я заслужила такую милость? Даже не знаю, что и сказать. Лучше не ломать голову. В этой жизни столько интересного, что нет нужды забивать себе голову непонятными вещами. Поэтому я стараюсь не думать о Небылице и её походах в церковь. Это для меня за семью замками. Я принимаю жизнь такой, какая она есть, и какой я хочу её видеть.

Но время идёт. И дочка названивает мне всё чаще. Она ждёт от меня действия. Наш план прост. Я должна прибрать к рукам квартиру Небылицы. Я поживу у неё какое-то время.

А потом придёт внучка. Надеюсь, к тому времени у неё появится младенец. И она согласится сыграть отведенную нами для неё роль.

Однако всё пошло не так. И именно из-за Таис.

«Я не буду участвовать в вашем мерзком спектакле!» – заявила она, когда узнала о наших планах.

«Послушай, Таис, нельзя быть такой наивной в этой жизни», – ответила ей Анжелика. Таис возмутилась и ушла. Но я всё равно надеюсь, что когда подойдёт время, она согласится и расскажет Небылице о своей горькой жизни, о том, что дома невыносимые условия. Алекс, муж Таис, не желает больше жить с тещей. А денег на съёмное жильё нет. Небылица, конечно, растает (уж знаю её характер) и приютит у себя семью моей внучки. А потом... Мы выпросим у Небылицы дарственную на квартиру. Тем более дети у Небылицы пристроены, крыша над головой у каждого есть. Спасибо её первому мужу Алексею, тот будто чувствовал, незадолго до своей гибели вспомнил, наконец, о своих сыне и дочери, купил каждому по квартире. Не исключено, что всё закончится для неё интернатом для престарелых. Если честно, то мне муторно от такого финала. Не рой яму другому, думаю я. Кто знает, может, в один ужасный день мои близкие пожелают и меня туда же упечь... А что, моя дочь на всё способна. Как в своё время она оказалась способной увести у меня мужа, её отчима. Но я подобное заслужила. Тот, кто делает другим пакости, тот сам рано или поздно окажется объектом аналогичных пакостей. Как я, когда отбивала мужей у Небылицы. Гуляла с Алексеем, её первым мужем, а потом об этом рассказала Катьке. Это, думаю, и стало одной из причин их развода. Ну, а позже я закрытила роман уже с её вторым мужем, Колей Кулаковым. Это случилось уже после того, как я бросила своего первого мужа Гешу Кокарейкина, моего бывшего одноклассника и друга Коли Кулакова, и умотала с любовником в кругосветное путешествие. Потом я всё равно осталась одна. С годами я весьма сожалела о Геше, да и как не жалеть о том, кто разбогател, но для тебя является уже недостижимым.

Ах, как я самой себе противна. Как я хочу быть другой. Я гадкая... Но желание прибрать к рукам Катькину квартиру перевешивает, и я стараюсь не обращать внимание на это неприятное чувство собственной вины.

Впереди немало работы. Надо готовить почву. День за днём я рассказываю Небылице страшные истории о невыносимой жизни моей внучки Таис, как издеваются над ней родители, какой сволочью с годами стала Анжелика (и это чистая правда). Небылица слушает со слезами и восклицает: «Боже, спаси и сохрани!»

Я умолкаю и пью чай. Скажите, ну как можно быть такой дурой. Зачем она верит мне, дрянной... Я ощущаю в себе вот эту мерзость, что копилась, росла внутри меня с детства. Я привыкла к этому. Я всегда знала, что внутри меня есть некая гадкая сила... Когда эта сила просыпается, я начинаю управлять людьми. Я делаю это так легко, я оказываюсь над миром. Сколько мужчин увидело во мне эту силу? О, разве можно считать свои победы. Это неправильно. Их можно смаковать. Ведь каждая победа – это целая прожитая жизнь. У меня много жизней. Каждая из них читается с наслаждением. И это наслаждение отвратительно, думаю я, но продолжаю упиваться минувшими безумствами.

В этих ярких историях из моей жизни много глянцевых страниц. Их я перелистываю каждый день. По этим страницам бродят ароматы любви, смешные глупости, горячий запах денег. Там царствуют моя красота, мои безумства, моя наглость. «Ты ужасна!» – говорю я себе, но продолжаю любоваться своей молодостью.

Что-то неладное творится со мной. Сентиментальность. Надо уметь держать себя в руках. Ведь я всегда умела держать себя в руках.

Но вот Небылица идёт к своим иконам, и мне слышно, как она шёпотом просит у кого-то помощи для рабы Божьей Таисии. Это она о моей внучке. Это невыносимо. Мне хочется трес-

нуть по её иконам, по её седой голове. Мне хочется разнести вдрызг эту квартиру, ведь именно здесь я когда-то отбила мужа у Небылицы.

Как можно жить, если рядом есть человек, который верит тебе? Как можно вынести эту муку доверия?

– Послушай, Небылица. Ты принимаешь меня за другого человека. Я не то, что ты думаешь, – однажды сказала я, когда она ползала по полу с тряпкой.

– И ты не знаешь самого главного. Ты и я – мы родные сёстры, – сказала я. – Мой отец, Царство ему Небесное, был и твоим отцом. Родным отцом. Вот так.

Я смотрела сверху на её плешивую голову. Зачем я говорю всё это, думала я.

– Ты, Вера, хороший, добрый человек, – сказала мне Небылица.

Она не упала в обморок от такой новости. В такое было трудно поверить, но рано или поздно, конечно, она поверит. Мне стало спокойнее. Эта тайна так много лет тяготила меня. Наконец, я освободилась от неё.

Однажды позвонил телефон, незнакомый голос сообщил, что машина сбила мою дочь Анжелику. И она теперь в морге. Её нужно опознать. Внучка? Таисия? Да, там была рядом ещё и девушка. Внучка жива.

А потом завыли за стеной у соседей. Собака. Она воеет, когда хозяйка оставляет её одну. Вот и сейчас. Она снова меня нервирует. Но Небылица подошла ко мне, погладила по голове и по её глазам я поняла, что это не собака, это я вою. Это означало – у меня инсульт. Как когда-то у Кулакова.

Я превратилась в беспомощное существо.

Небылица кормила меня, обтирала, пеленала, переодевала. Я покорно смотрела на неё и молчала. Я разучилась не только говорить, но и думать. Не думать – это здорово. Тем более не думать о Небылице. Не думать о Небылице означает для меня быть свободной от плохих мыслей. Небылица мой крест, она тот камень, о который разбилась моя душа. Она тот человек, который показал мне, кто я есть. Это знание я прятала от себя. Но разве может не стать явью то, что вопиёт к небу. Разве может тьма не знать, что она тьма... Ради этого, пожалуй, стоило заработать инсульт.

Глава 5: Таис Монастырская

/Рассказ основан на реальных событиях. Автор: Катя Небылица/

Приписка на полях рукой Кати Небылицы: «Прототип главной героини рассказа – Таис Монастырская (внучка Веры Монастырской)».

Я всегда вспоминаю эту историю, когда вижу под дождём бегущую женщину.

В тот серый, без неба, переполненный водою день я шёл под зонтом по опустевшему от страха городу. Дома, автобусы, троллейбусы, такси, слепленные в одно тело люди под козырьками автобусных остановок, вереницы лиц за окнами плывущих по городскому океану кораблей, всё вокруг дрожало от боязни перед стихией. Боже мой, думал я, люди забыли самих себя, они и знать не хотят, что они – образы Божии, и видно, оттого так пугливы.

Мне надо было успеть пересечь перекрёсток с мигающим жёлтым глазом, прежде чем гудящая толпа смертей ринется навстречу горизонту. И это мне удалось бы, не появившись на тротуаре та самая женщина. Она бежала к дороге и размахивала сумочкой. У неё были сумасшедшие глаза. Я сразу понял, что с ней неладно. Она явно хотела нырнуть туда, где мчалась смерть. Мне ничего не осталось, как встать на её пути и поднять свою трость.

Это было, надо сказать, единственное, что я мог сделать для неё. Всё, что потом она мне рассказала, хотя и вызывало живое сочувствие, но не более того. Чем я мог помочь незнакомому человеку? Вмешиваться в чужую жизнь? Сделать шаг не в свою судьбу? У неё была банальная история. Она не хотела жить.

В последнее время я мало встречаю людей, которые хотели бы жить. Все вокруг только и делают, что говорят о смертниках, мировой войне, атомной бомбе. И под крики из телевизора засыпают с мыслями о супервулкане Йеллостоуне, который завтра утром наверняка взорвут террористы и разбудят живущего в нём дьявола. Каждое утро человечество ждёт, подумать только, не Бога, а мировую войну.

Пока я пил утренний чай, Павел зачитывал мне из своего интернета новости – до тех пор, пока мой мобильник не разрядился, за это время я успел узнать, что военно-космические силы России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков, а «Калашников» испытывает новую винтовку. «Армейские снайперы смогут поразить врага даже на расстоянии полторы тысячи метров!» («Да не ори в ухо! Но что там ещё? А. Ну только не ори, балбес!») «На юге России началась внезапная проверка боеготовности вооружённых сил. Ну надо же, свыше четырёх тысяч береговых войск сейчас останавливают, уничтожают, стирают с лица земли то, чего пока не случилось, но завтра может случиться! Двадцать пять кораблей вышли в воды!» («Да не ори, говорю тебе!»)

Как раз завтра я собрался трястись в маршрутке в Новофёдоровку. Неужели мне придётся плавать рядом с этими кораблями – глупые мечты, понимаю, поэтому и говорю Паше, чтобы не звонил мне, когда я пью чай.

Меня удивляет интернет-мания. Человек не может быть наедине с этой своей зависимостью, ему непременно хочется присоединить к себе ещё кого-то, чтобы страдать вместе. Жэжэ-вконтакты-фейсбуки-аськи-скайпы-ватсапы. Народ думает, это для общения. А я думаю – для размножения дури. Людям скучно дуреть в одиночестве. Вот и мой внук. Вместо того, чтобы жениться, он помешался на интернете и военных новостях. Каждый день он звонит мне, чтобы поделиться «молнией» об увеличении мощи нашего государства. Это у него началось с тех пор, как Республика вернулась в Россию. Я ходил с ним на заполненную тысячами людей площадь Ленина и слушал хоровые скандирования «Крым-Россия-Путин». Незадолго до этого

я спешил через центр спящего города к женскому монастырю в Свято-Троицкий собор на утренний акафист перед мощами святого Луки, и возле Верховного Совета дорогу мне преградили люди в камуфляже с автоматами. Они предложили идти обходным путём. Их доброжелательный тон и калашки произвели на меня впечатление. То же самое произошло возле Совмина. Пустынный город, полно вооружённых людей. Война? Военный переворот? Предсказания прозорливцев, нострадамусов, бабок Ванг сбылись? Сталин встал из гроба? Пока я добрёл окружными путями через старую часть города к монастырю, я был уже морально готов увидеть забитый досками храм. Слава Богу, сказал я, когда пришёл к церкви и услышал клиросное пение, это не те, кто называл религию опиумом для народа.

Теперь на спинах и животах вместо иностранных символов носят портреты Владимира Владимировича. Дедушки с бабушками обзавелись патриотическими футболками, облепили холодильники магнитными Путинами, навесили на стены календари с президентом. У меня тоже такой есть, подарок внука. Напротив входной двери. А вот у соседа, Ивана Семёновича, помимо Путина в квартире присутствуют вожди марксизма-ленинизма. В его спальне над кроватью – Ленин и Сталин. Иван Семёнович с советских времён посещает партийные митинги и по-прежнему играет в домино за кинотеатром «Симферополь» на площади Советской, в городском парке, наименованном не так давно Екатерининским. (Мы ходили в этот парк на открытие восстановленного памятника Екатерине. Павел делал селфи. Иван Семёнович критиковал мне в ухо, перекрикивая духовой оркестр, большевиков, взорвавших «ту, которая подарила русским Крым». Но на обратном пути он всё равно вздыхал по советскому прошлому. Ностальгия по Родине – это его ежедневное состояние.) Этот человек ждёт своё светлое будущее, он верит, что к власти вернуться те, кто это будущее обещал ему.

Когда он говорит мне об этом громким голосом пророка в нашем, завешанном мокрым бельём, дворе, и из-за надутых ветром пододеяльников высовываются собачьи морды и вялые лица любопытных старух, я не могу сдержаться и вступаю с ним в нескончаемые пререкания. Он доказывает мне, что только последователи Сталина могут навести порядок в государстве. А когда его доводы иссякают и он видит, что к моему религиозному сознанию его красноречие пробиться не в состоянии, он прибегает к самому главному доказательству своей правоты. Он понижает голос, и кося полуслепым глазом на внимательные собачьи глаза под нашими ногами, говорит: «Так вот, не будь скотиной, а поверь в последний раз. А если не хочешь, то я тебе скажу такое, от чего ты просто станешь таким же паралитиком, как мой двоюродный брат Славка. Он тоже не верил мне, а теперь уже второй год лежит под открытой форточкой, и под карканье сумасшедших ворон смотрит с утра до ночи в телевизор, и жена с ложечки пичкает его манной кашей. Слушай меня. Уже этой, или, в крайнем случае, следующей осенью, слышишь, обязательно состоится что-то прекрасное. Или путч, но гораздо удачнее, чем в Турции. Или революция, как в семнадцатом. Мы войдём в союз с военными, а с военными союз необходим, без них мы ничего не добьёмся, и пока депутаты будут отдыхать на своих чёртовых оффшорах в бермудских треугольниках, мы возьмём власть!»

На вопрос, откуда такие сведения, он повествует об интервью таинственной монахини, рассказавшей о предсмертных откровениях своей келейницы-ясновидящей. Об этом Иван Семёнович узнал, разумеется, от моего внука, главного добытчика интернетной информации в нашем, переполненном пенсионерами, хрущёвском доме. (Когда я слушаю такие вещи, то начинаю подозревать всемирный заговор прорицателей и политтехнологов). Иван Семёнович показывает мне кулак. «Кузькина мать, вот что будет!»

Я сохраняю на лице невозмутимость и думаю про себя о том, как люди склонны зажигаться в этой жизни ненужным, тем, что они никогда не смогут забрать с собой туда, наверх. Почему бы им не зажигаться идеей милостыни бедным, или идеей смирения, идеей преодоления гордыни? Уж это точно побежит впереди них, когда подойдёт пора уходить духом на небо, а костями – в землю...

Иван Семёнович отправляется к своим доминошникам, и уже там, в парке, он продолжит гневные речи, и все будут говорить, что третья мировая неминуема. Да, вздыхаю я, все ждут войну. Нам вбивают это ожидание в мозги с утра до вечера, рекламные ролики пропагандируют танки и ракеты, в новостях показывают русские ракетные удары с моря по ИГИЛ в Сирии, сообщают о внезапных военных учениях в России, демонстрируют колонны с гуманитарной помощью для военного Донбасса. Даже христиане, и таких, кстати, немало, и те попали в эту ловушку и ждут антихриста. Подумать только, им нет дела до Бога, им есть дело до войны и до антихриста.

Иван Семёнович не любит слушать мои рассуждения на подобные темы. Он не понимает меня. «А что ты предлагаешь? – говорит он. – Ты кто вообще – космополит? Пацифист? Или ты не патриот? Ты что, хочешь, чтобы мы проиграли натовцам или этим американцам, когда они начнут со всех сторон забрасывать нашу страну ракетами? Ведь они для этого налепили свои базы вдоль наших границ!» Мои доводы, что патриотизм и гонка вооружений, и вообще всё в этом мире, не должны заслонять от людей Бога, Ивану Семёновичу говорить бессмысленно. Если я скажу, что горжусь мощью нашей державы, я тоже не покривлю душой. Но я не люблю пафос, и предпочитаю молчать и молиться.

Мой духовник, отец Сергей, не комментирует подобное. «Всему своё время. Время разбрасывать камни, время собирать их».

Эти крепкие, здоровые, сильные люди, которые толпами несутся каждый день по городским улицам и сбивают меня с моей палкой с ног, живы ли они? В их глазах такая же пустота, как в той яме, в которую когда-то в назначенный час побросают одинаково всех нас, и засыплют землёй. Они хохочут, матерятся, курят, пьют пиво из бутылок, кидают их в урны, смотрят вокруг себя в надежде увидеть что-то ещё более интересное, чем пиво, но ничего не видят, и их глаза снова проваливаются в пиво.

Вот и эта несчастная. Она хотела вместо вечной жизни, обещанной нам Спасителем, увидеть вечную смерть. Я так ей и сказал, когда мы устроились за столиками недавно открытой пельменной «Советская», и официант принёс нам по тарелке дымящихся пельменей и две чашки чая.

– Послушай, милая. Там, куда ты собралась отправиться, тебя, поверь, никто не ждёт. Никто, понимаешь.

Пельмени сами прыгали мне в рот, и я вспоминал гоголевского Пацюка. Было очень вкусно. Вот такие же вкусные пельмени когда-то готовила моя мама. У нашего поколения, хорошо это или нет, прошлое равнозначно советскому, мы там жили, мы там кушали свои советские пельмени. (Увы, многие из нас так и остались на уровне пельменного счастья и вздыханий по утраченной державе...) Эта пельменная стала для нас с внуком, и, конечно, для Ивана Семёновича (куда нам от него деться, чего уж), местом встреч и посиделок. Обычно это происходит в первые дни после получения пенсии или зарплаты внука. Вот и на этот раз. Я по своему обыкновению пришёл первым, да ещё не один. Вот будет для них сюрприз.

– Меня нигде не ждут, – сказала она, и я увидел, что она очень молода.

– Деда, на полуостров перебросили вздэвэ, но это ещё не всё. Ещё морскую пехоту! Ты где, уже в «Советской»? Скоро буду. Жди. Отбой, до связи!

В телефоне запиликало.

– Ты не права. И только со скидкой на твою юность тебя можно понять в этом заблуждении. Посмотри за окно. Ты видишь, какой там дождь? Небеса разверзлись, и сам Бог гремит в гневе, не правда ли? И Ему, действительно, есть на что гневаться. Человечество забыло Его. Все стремятся побыстрее к смерти. Вот как ты. Всем хочется побыстрее в ад. И этот ад они устраивают себе уже тут, на земле. Им это нравится.

– Деда, сенсация! Цитирую: «Учёные предрекли США убийственное землетрясение. От Северной Калифорнии до Британской Колумбии!» Я уже выхожу! До встречи!

Она смотрела на меня, стучала зубами от холода и не могла согреться. Она не понимала мою речь, занятая своими немыслями, нежизнью. В её глазах плясали огоньки дождя, бросающегося ежесекундно под колёса визжащих автомобилей за большим окном. Мы одновременно посмотрели туда и ничего, кроме самих себя, не увидели. И только глупые неповоротливые рыбы под зонтами иногда подплывали к нашим, маячившим в стеклянной глади, глазам, и искали что-то в них, и не находили ничего, кроме пустоты, и уплывали восвояси. Наши дрожащие в стекле лица пылали отсветами будущих тревог, которые, вероятно, нам пророчила эта случайная встреча.

Наконец, она смогла решиться на глоток чая, и кто-то постучал в моё сердце. Я смотрел, как детские губы плачут и пьют проклятый чай. Её щёки повеселели от проснувшегося в них румянца, глаза вспыхнули, но всё равно продолжили бросать к губам пригоршни дурацких слёз. Она проглатывала их вместе со своим горячим и таким бесполезным чаем. Сколько ненужных вещей мы имеем в руках и надеемся на их магию, подумал я. Чай, кофе, ром, и на этом наше счастье заканчивается.

Увы, думал я, мы не хотим Бога. Мы каждый день не хотим Бога. И оттого всё так нескладно в нашей жизни. Мы ничего не можем противопоставить тягучему сонному хмелю, который затягивает по утрам обратно в кровать и не даёт ни молиться, ни идти в новую жизнь. И эту жизнь мы не живём. Мы просто спим. Из года в год, мы спим и не хотим ничего кроме этого сна, нам нравится эта нежизнь, в которую погружены наши тела, мы срослись с нею, как лягушки с болотом. О, если бы эти лягушки научились поднимать головы к небу, если бы их слепые глаза открылись... Представляю, какой всемирный лягушачий плач случился бы на этой горемычной планете. Но лягушки не хотят этого. Они привыкли. Они думают, что мир вечно будет крутиться вокруг их кваканья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.